

ЗАХАР
ПРИЛЕПИН

ТАКО БЫЛО

РОМАН

18+

Захар Прилепин

Патологии

«АСТ»

2005

Прилепин З.

Патологии / З. Прилепин — «АСТ», 2005

ISBN 978-5-17-087195-7

Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Национальный бестселлер», «СуперНацБест» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санька», «Черная обезьяна», сборников рассказов «Грех» и «Ботинки, полные горячей водкой». «Патологии» – его первый роман, открывший России Прилепина-прозаика.Окраины Грозного. Вторая чеченская. Отряд молодых, весёлых, злых омоновцев приехал на войну. Но границы между бывшим и настоящим, между миром и войной – стёрты, размыты. Главный герой, Егор Ташевский – «человек хрупкой психики, робкой смелости» – не умеет вписать войну в своё представление о нормальном, и заново, в мыслях проживает своё детство, первую влюблённость и первую ревность... «Патологии» – целый мир, в котором есть боль, кровь и смерть, но есть и любовь, и вещие сны, и надежда на будущее.

ISBN 978-5-17-087195-7

© Прилепин З., 2005

© АСТ, 2005

Содержание

Послесловие	6
i.	10
ii.	14
iii.	19
iv.	26
v.	36
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Захар Прилепин

Патологии

© Захар Прилепин

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Послесловие

Проезжая мост, я часто мучаюсь одним и тем же видением.

...Святой Спас стоит на двух берегах. На одной стороне реки – наш дом. Мы ежесубботне ездим на другую сторону побродить меж книжных развалов в парке у набережной.

За лотками стоят хмурые пенсионеры, торгующие дешёвой сурового вида классикой и дорогой “макулатурой” в отвратных обложках.

Большим пальцем левой руки я приподнимаю корки разложенных на лотке книг. Правую руку держит мой славный приёмш, трёхлетний господин в красной кепке и кедах, обильно развесивших белые пухлые шнурки. Он знает несколько важных слов, умеет хлопать глазами, у него богатая и честная мимика, мы в восторге друг от друга, хотя он этого никак не выражает. Мы знакомы уже полтора года, и он уверен, что я его отец.

Сидя на набережной, мы едим мороженое и смотрим на воду. Она течёт.

– Когда она утечёт? – спрашивает мальчик.

“Когда она утечёт, мы умрём”, – думаю я и, ещё не боясь напугать его, произношу свою мысль вслух. Он принимает мои слова за ответ.

– А это скоро? – видимо, его интересует, насколько быстро утечёт вода.

– Да нет, не очень скоро, – отвечаю я, так и не определив для себя, о чём говорю – о смерти или о движении реки.

Мы доедаем мороженое. Он раскрывает рот, чтобы сцапать последние, сладко размякшие, выдавленные из вафельного стаканчика стустки мороженого. Раскромсанный и смятый, в белых каплях стаканчик доедаю я.

– Кусьно, – констатирует малыш.

Вытираю ему платком липкие лапки, почему-то в грязных потеках липкие щёки и поднимаюсь уходить.

– Давай ещё подождём, – предлагает он.

– Чего?

– Подождём, пока утечёт.

– Ну давай.

Он сосредоточенно смотрит на воду. Она всё ещё течёт.

Потом мы садимся в маршрутку, маленький автобус на двадцать персон плюс водитель, виртуозно рулящий и одновременно обилечивающий пассажиров. Во рту его дымится сигарета, но пепел никогда не упадёт ему на брюки, а рассыплется за окном, на ветру.

Иногда я сомневаюсь в мастерстве водителя. Когда мы, двое очаровательных мужчин, я и приёмш, путешествуем по городу, я сомневаюсь во всём. Я сомневаюсь в том, что цветочные горшки не падают с балконов, а дворняги не кидаются на людей, я сомневаюсь в том, что оборванный в прошлом месяце провод телеграфного столба не даёт ток, а канализационные люки не проваливаются, открывая кипящую тьму. Мы бережёмся всего. Мальчик доверяет мне, разве я вправе его подвести?

В том числе я сомневаюсь в мастерстве водителя маршрутки. Но сказать, что я сомневаюсь, мало. Ужас, схожий с предвотными ощущениями, сводит мои небритые скулы, и руки мои прижимают трёхлетнее с цыплячьими косточками тело, и пальцы мои касаются его рук, мочек ушей, лба, я проверяю, что он тёплый, родной, мой, здесь, рядом, на коленях, единственный, неповторимый, смешной, строгий, и он отводит мою руку недовольно – я мешаю ему смотреть, как течёт: мы едем по мосту.

И меня мучает видение. Водитель выносит руку с сигаретой, увенчанной пеплом, за окно, бросает мимолётный взгляд в зеркало заднего вида, пытаюсь прикинуть, кто ещё не заплатил за проезд... Правая нога машинально давит на газ, потому что глаза его сотую часть секунды назад уже передали в мозг донесение о том, что дорога на ближайшие сто метров пуста – все легковые машины ушли вперёд. Он выносит руку с сигаретой, давит на газ, смотрит в зеркало заднего вида и не знает, что спустя мгновение его автобус вылетит на бордюр. Быть может, автобус свернул из-за того, что колесо угодило в неизвестно откуда взявшуюся яму, быть может, на дорогу выбежала собака и водитель неверно среагировал – я не знаю.

Визг женщины возвращает глаза водителя на дорогу, которая уходит, ушла резко вправо, и он уже не слышит крика пассажиров, он видит небо, потому что маршрутка встаёт на дыбы и, как нам кажется... мед-лен-но... но на самом деле мгновенно, – отвратительно, как воротами в ад, лязгнув брюхом о железо ограды, то ли переваливается за неё, то ли просто эту ограду сносит.

Вода течёт. До неё тридцать метров.

Я увидел всё раньше, чем закричавшая женщина. Я сидел рядом с водителем, справа от него, на этом месте должен бы сидеть кондуктор, если б автопарк не экономил на его должности. Я всегда сажусь на место отсутствующего кондуктора, если я с малышом. Когда я один, я сажусь куда угодно, потому что со мной никогда ничего не случится.

В ту секунду, когда водитель потерял управление, я перехватил мальчика, просунув правую руку ему под грудку, и накрепко зацепился пальцами за джинсу своей куртки. Одновременно я охватил левой рукой тот поручень, за который держатся выходящие пассажиры, сжав его между кистью и бицепсом. В следующую секунду, когда автобус, как нам казалось, медленно встал на дыбы, я крикнул водителю, тщетно выправляющему руль и переносящему ногу с газа на тормоз:

– Открой дверь!

Он открыл её, когда автобус уже падал вниз. Он не подвёл нас. Хотя, возможно, он открыл её случайно, упав по инерции грудью на руль и в ужасе упершись руками в приборы и кнопки. Несмотря на крик, поднявшийся в салоне, – кричали даже мужчины, только мой приёмщик молчал, – несмотря на то, что с задних сидений, будто грибы из кошелки, на лобовуху салона загремели люди и кто-то из пассажиров пробил головой стекло, итак, несмотря на шум, я услышал звук открываемой двери – предваряющийся шипом, завершавшийся стуком о поручень и представляющий собой будто бы рывок железной мышцы. Я даже не повернул голову на этот звук.

Автобус сделал первый кувырок, и я увидел, что пенсионерка, так долго сетовавшая на платный проезд две остановки назад, как кукла, кувыркнулась в воздухе, взмахнув старческими жирными ногами, и ударилась головой о... я думал, что это потолок, но это уже был пол.

Мы, я и мальчик, съехали вверх по поручню, я нагнул голову, принял удар о потолок затылком и спиной, отчётливо чувствуя, что темечко ребёнка упирается мне в щеку, в ту же секунду ударился задом о сиденье, завалился на бок, на другой и, наконец, едва не вырвал себе левую руку, когда автобус упал в реку.

Ледяная вода хлынула отовсюду одновременно. Один мужчина, с располосованным и розовым лицом, посыпанным, будто сахаром, стеклянной пылью, рванул в открытую дверь и мгновенно был унесён в конец салона водой, настолько холодной, что показалось – она кипит.

Я дышал, и дышал, и дышал, до головокружения. Я смотрел в форточку напротив, в которую, как ведьма, просовывала голову жадная вода. Помню ещё, как один из пассажиров, мужчина, карабкаясь по полу на очередном, уже подводном, повороте автобуса, крепко схватил меня за ноги, зло впился в мякоть моих икр, ища опоры. Я закрыл глаза, потому что сверху и сбоку меня заливала вода, и наугад ударил его ногой в лицо. Здесь я понял, что воздуха в салоне больше нет, и пальцами ног, дёргаясь и торопясь, стянул с себя ботинки.

Автобус набирал скорость. Я открыл глаза. Автобус шёл на дно, мордой вниз. В салоне была мутная тьма. Справа от меня, на лобовухе, лежали несколько – пять, или шесть, или даже больше – пассажиров. Я почувствовал, что они дёргаются, что они движутся. Вода больше не была в салон, оттого, что он был заполнен.

Мальчик недвижно сидел у меня на руках, словно заснул.

Я повернул голову налево, увидел, что дверь открыта, и, оттолкнувшись от кого-то, лежащего под ногами, развернулся на поручне, схватился левой рукой за дверь, за железный косяк, ещё за что-то, видимо, где-то там же начисто сорвал ноготь среднего пальца, изо всех уже, казалось, последних сил дрыгая ногами, иногда впустую, иногда во что-то попадая, двигался куда-то и неожиданно увидел, как автобус, подобно подводному метеориту, ушёл вниз, и мы остались с малышом в ледяной воде, посередине реки, потерянные миром.

Тьма была волнистой и дурной на вкус, только потом я понял, что, кувыркаясь в автобусе, я прокусил щёку, и кусок мякоти переваливался у меня во рту, где, как полоумный атлант, упирался в нёбо мой живой и розовый язык, будто пытающийся меня поднять усилием своей единственной мышцы.

Если бы я мог, я закричал. Если бы задумался на секунду – сошёл с ума.

Подняв голову, я увидел свет. Наверное, никому солнце не кажется настолько далёким, как ещё не потерявшему надежды вынырнуть утопленнику.

До чего легко, по юности, мы с моими закадычными веснушчатými товарищами носили на руках друг друга, бродя по горло в воде нашего мутного деревенского пруда. Казалось, что вода обезвешивает любую тяжесть.

Какая глупость!

Судорожно дёргая ногами и свободной рукой, отбиваясь так же безысходно и безнадёжно от огромной мертвящей воды, как отбивался бы от космоса, я почувствовал, что не в силах плыть вверх, что не могу тащить на себе свои налипшие джинсы, свою куртку, свою майку, пышные наряды моего обвисшего на руке ребёнка.

Не имело смысла сетовать, что я потеряю несколько десятков секунд на то, чтобы снять хотя бы куртку. Если б я её не снял, через пару минут мы нагнали бы автобус с агонизирующими пассажирами.

Не переставая дрыгать ногами, но поднимаясь в тягучую высь, думается, не более пяти сантиметров в секунду, поддерживая мальчика левой рукой за живот, я попытался вылезти свободной правой рукой из рукава. Бесполезно...

Левой рукой, в пальцах которой был намертво зацеплен мой приёмьш, я дотянулся до правой. Большим пальцем левой я зацепился за правый засученный рукав куртки, сделал несколько нервных высвобождающих движений правой рукой и снова понял, что это бесполезно. Куртку мне не снять.

И тут меня осенило. Я дотянулся левой рукой до лица и схватил мальчика зубами, за шиворот.

... Через три секунды снятая куртка, покачиваясь, поплыла вниз.

Какое счастье иметь две свободные руки! Я сделал несколько рывковых взмахов обеими руками и снова отвлёкся на секунду от плавания, чтобы снять роскошные кеды моего мальчика. Я не видел, как они полетели нагонять мою куртку, но почувствовал, что сам немедленно ухожу вниз, и больше попыток растелешить себя и чадо не повторял.

... бился о воду, рвал её на части, я грёб, и грёб, и грёб.

В какой-то момент я понял, что голову мою выворачивает наизнанку. Будто со стороны я увидел её, вывернутую, как резиновый мяч, – шматок размягчённых костей, украшенных

холодным ляпком мозга, ушными раковинами, синим глупым языком... и челюстью, в которой был зажат кусок джинсы.

Я извивался в воде, как пиявка, я вымаливал у неё окончания, я жил последние секунды, и никакая сила не заставила бы меня разжать зубы.

Я никогда не догадывался, что вода настолько тверда. Каждый взмах рук давался мне болезненным, разрывающим капилляры, рвущим мышцы, выламывающим суставы усилием.

Затылок мой саднило от тяжести, и рот мой обильно кровоточил. Сердце моё лопалось при каждом взмахе рук.

Задышавшись, я уже не делал широких полных движений руками и ногами – я сучил всеми конечностями. Я уже не плыл – я агонизировал.

Не помню, как очутился на поверхности воды. Последние мгновения я двигался в полной тьме и вокруг меня не было жидкости, но было – мясо, кровавое, тёплое, сочащееся, такое уютное, сжимающее мою голову, ломающее мне кости недоразвитого, склизкого черепа... Был слышен непрерывный крик роженицы.

Всплыв, я, каюсь, разжал зубы – разжал зубы и вдохнул, два моих расправившихся лёгких могли принять в себя всю атмосферу. Но тут же всё исчезло – я снова пошёл на дно.

Только потом я понял, почему это произошло: разжав зубы, я выпустил ребёнка; мои, существующие сами по себе, со сведёнными насмерть мышцами руки тут же схватили его, но тело моё некому было, кроме них, держать на поверхности, потому что ноги мои обвисли, как две дохлые рыбы с отбитыми внутренностями.

Даже не знаю, чем я шевелил, дёргал, дрыгал на этот раз, какой конечностью – хвостом ли, плавниками, крыльями, но уже не мог я, увидевший солнце, покинуть его снова.

И оно явилось мне.

Я вдохнул ещё раз. Я вдохнул ещё несколько раз и прикоснулся губами к темени моего ребёнка – оно было сырым и холодным.

Я лёг на спину и обхватил его за грудь.левой рукой я принялся за свои джинсы. Ремень, пуговица, ширинка... Одно бедро, другое... Это отняло у меня несколько минут. Джинсы застряли у меня на коленях, и я дёргал ногами и понимал, что снова тону, что не могу больше, и по лицу моему беспрестанно текли слёзы.

Мы опять пошли под воду, но здесь это случилось уже в состоянии, которое отдалённо можно назвать сознанием. Я успел глотнуть воздуха и под водой снова взял мальчика в зубы. Обеими руками стянул джинсы, как оказалось, вместе с исподним, и снова судорожно вылез вверх. Наверху ничего не изменилось.

На берегу стояли люди. На балконах домов у реки тоже стояли люди. И на мосту стояли люди, вышедшие из машин. Вдоль ограды на мосту, лая, бегала вислоухая дворняга. Кто-то закричал:

– ...ребёнок!

Кто-то уже плыл к нам на лодке. Но я ничего не видел и не слышал.

Нас несло течением, и я начал раздевать своего тяжёлого, как смертный грех, ребёнка. Курточка, синяя, с отличным зелёным мишкой на спине. Голубенькие джинсики, заплатанные колготки. Свитерок всех цветов счастья, оранжевый, и розовый, и жёлтый, махровенький, я оставил, не в силах с ним справиться.

Вскоре меня подхватили чьи-то руки, и нас втащили в лодку.

– Дайте ребёнка! – велела мне женщина в белом халате. Лодочник без усилия разжал мои руки.

Всхлипывая, я следил за женщиной. Она заново творила жизнь ребёнку. Через несколько минут у него изо рта и из носа пошла вода.

i.

Выгружаемся. Вскрытое брюхо борта кишит пацанами в камуфляже. Десятки ящиков с патронами и гранатами, тушёнка и рыбные консервы, водка, мешки макарон. Какие-то бидоны. Печка-буржуйка...

Грязные солдаты-срочники с затравленными глазами курят “Астру”, сидят на брезенте, смотрят на нас. Юные пацаны, руки с тонкими запястьями.

Мы всю дорогу играли в карты. Я в паре с полукровкой-чеченцем по имени Хасан. Он блондин с рыжей щетиной, нос с горбинкой и глаза навывкате выдают породу.

Хасан после армии не вернулся в Грозный, где родился, учился и всё такое. Святой Спас, так называется город, откуда мы приехали, – здесь Хасан нашёл себе невесту и остался жить.

Сменил паспорт, взял русское имя. Парни всё равно зовут его Хасан. Потому что он нохча, чеченец. Теперь Хасан в составе русского спецназа едет навестить родной Грозный, быть может, пострелять в своих одноклассников. Мы с ним командуем отделениями в одном взводе. Наш взводный – Шея. Кличут его так – у него голова и шея равны в диаметре. Не потому, что голова маленькая, а потому, что шея бычья.

Взводный спрашивает:

– Хасан, как ты в своих будешь стрелять?

Хасан смеётся.

– Вот так, – говорит. – Пиф! Паф!

Он хитрый. Мы всех обыграли в карты, пока летели. Потом самолёт загудел, задрожал и пошёл на посадку. Мы спрятали карты. Пристегнули рожки, кто-то перекрестился. Вышли, оказалось – Моздок, до войны отсюда ещё далеко.

Мы с Хасаном отправились отлить, пока парни разгружали борт. Выкурили возле деревянного туалета по паре сигарет.

Вернувшись, хватаем пустой бидон и несём, нарочно подгибая колени, будто бидон тяжёлый. Возвращаемся к самолёту по нелепой окружности. Пацаны все уже мокрые от усталости. Мы с Хасаном опять выбираем что полегче. Я замешкался с ящиком, и в это время Хасана унесло за водой. Он один знает, где вода: вода на вокзале в кране, сейчас он придёт и напоит всех страждущих. Как раз когда разгрузят весь борт, вернётся и принесёт пластиковую бутылку с водой.

Грязные солдаты курят “Астру” и задумчиво смотрят на привезённые нами консервы. Опять загружаемся – в вертушку. Следующая станция – Грозный.

Борт похож на акулу, вертушка – на корову.

Мне с детства был невыносим звук собственного сердца. Если ночью, во сне я, ворочаясь, ложился так, что начинал слышать пульсацию, сердцебиение, – скажем, укладывал голову на плечо, – то пробуждение наступало мгновенно. Стук сердца мне всегда казался отвратительным, предательским, убегающим. С какой стати этот нелепый красный кусок мяса тащит меня за собой, в полную пустоту и темень? Я укладывал голову на подушку и успокаивался – тишина... никакого сердца нет... всё в порядке...

И я засыпал.

Появление Даши наделило меня новым страхом.

Ещё более, чем своего, я боялся стука её сердца. А вдруг течение её крови уносит мою Дашу прочь, в другую сторону от меня?

Я всегда просыпался раньше неё. Утром у меня было постоянное ощущение, что я что-то не додумал ночью, запнулся на середине мысли и выпал из сознания.

По утрам Даша спала беспокойно, словно грудной ребёнок перед кормлением. Делала несколько шальных движений, смешно переворачивалась, задевая волосами моё лицо, оставляя на коже лёгкое ощущение касания крыла близко пролетевшей ласточки, и затихала на несколько минут.

По улице с шумом пролитой на горячее железо воды проезжали троллейбусы, хотя ещё вчера ночью казалось, что они навсегда вымерли, как динозавры. Ночью мы возвращались домой, как обычно придуриваясь и ласкаясь; бессмысленно переходили с одной стороны улицы на другую, внося смысл в существование редких ночных светофоров; считали своим долгом растревожить все лужи на тротуарах и босиком переходили ухоженные, до единой травинки расчёсанные газоны на центральных площадях города.

По утрам мне хотелось курить, но я не мог заставить себя подняться, чтоб выйти на кухню.

Резко тормозили, недовольные судьбой, водители авто; от визга тормозов вздрагивало Дашино веко, и я, до сей поры задумчиво и любовно обводящий пальцем её нежно-коричневый сосок выпроставшейся из-под одеяла груди, пугался, что девочка моя проснется, и, шепча: “Тцц”, – опускал руку на её горячий, как у щенка, живот, где, блуждая любопытным мизинцем, задевал ласковый завиточек чёрных волос и снова, незаметно для себя, застигнутый полудрёмой суматохой смешных нелепиц, образов и воспоминаний, как жуки наползающих друг на друга, засыпал.

Сны мне снились одни и те же. Сны состояли из запахов.

Влажно и радужно, словно нарисованный в воздухе акварелью, появлялся запах лета, призрачных ночных берез, дождей, коротких, как минутная работа сапожника, нежности. Затем густо и лениво наплывал запах осени, словно нарисованный маслом, запах просмоленных мачт сосен и осин, печали. Белый, стылый, неживой, нарисованный будто бы мелом, смешивал запах осени вкус зимы. Сны – сбывались. Будило нас чувство голода, карабкающееся холодным пауком на вершину всех сновидений, распугивая нестерпимо ласковое – до ломоты в суставах – тепло, тревожа блаженное онемение и такую счастливую и доверчивую слепоту. По каждому нашему движению, по нарочитой случайности, а на самом деле прямой целенаправленности блуждающих касаний наших – как бы спящих – рук мы оба понимали, что проснулись, но какое-то время не подавали виду, пока Даша не выдавала себя, забавно, по-котёночьи, зевнув. Спустя мгновение, приоткрывая смешливые и нежные глаза, Даша тут же натыкалась на мой взгляд.

“Попалась!”

Даша быстро закрывала глаза, но зрачки уже не умели жить бесстрастной ночной жизнью и оживали снова. Так два козлёнка выпрыгивают из зарослей лопухов и крапивы, поняв, что пришёл хозяин.

В лужах плавают грязные льдинки. Проезжают грузовики. Раскатившись в стороны и возвращаясь назад, вода в лужах грязно пенится. Небо моросит – серое, тяжёлое, влажное. Пахнет старыми отмокшими бинтами...

Равнодушные ко всему солдаты поднимают на нас сонные глаза. Мы в Ханкале – это место расположения основной группы войск, пригород Грозного.

Бородатый майор в камуфляже разговаривает с чеченом в кожанке, оба хохочут. Майор сидит на раскладном стульчике, беретка с кокардой набок. Чечен похож на приодетого беса, майор напоминает художника без мольберта.

В нашу “корову” загружаются питерские “собры” – они возвращаются домой. Один из “собров” говорит мне:

– Главное, чтоб командир у вас был упрямый. Чтоб вас не засунули куда-нибудь в... В рот их приказы! Вон рязанских вывезли в чистое поле, заставили окапываться. А через неделю

сняли. Но четверых уже окопали, бля. Даже раскапывать не надо. А у нас на пятнадцать человек – двое раненых, и всё. Потому что клали мы на их приказы.

– Город в руках федералов, – слышу я разговор в другом месте, – но боевиков в городе до черта. Отсиживаются. Днём город наш, ночью – их.

Своё барахло мы, потные, невыспавшиеся и усталые, загружаем в разнокалиберные грузовики. Сами лезем туда же, в кузова. Хитрый Хасан забирается в одну из кабин, к водителю. Там тепло и мягко.

– Давай-давай, Хасан! – говорит ему вслед Шея. – Твои сородичи имеют обыкновение первым делом по кабине стрелять.

Хасан не слышит, скалит зубы. Пацаны смотрят на Шею. Все сразу начинают курить, даже те, кто никогда не курил.

– Не ссыте, пацаны! – смеётся замкомвзвода Гриша Жариков, сутуловатый, желтозубый, с выпирающими клыками, похожий то ли на гиену, то ли на шакала, прозванный за свой насмешливый нрав Язвой. – Ваши тела остынут скорее, чем стволы ваших автоматов... – издевается Язва.

Он воевал вместе с Шеей в Таджикистане.

Командир наш, Сергей Семёныч Куцый, уважает Язву, а Шею называет “сынок”. Семёныч – лицо героическое. Весь в медалях – “парадку” не поднимешь. Говорят, в Афганистане он вместе с подбитой вертушкой грохнулся в горах. Потом в Чернобыле на самую высокую заводскую трубу советский флаг водрузил: в честь победы над ядерным реактором. За это ему квартиру дали. Потом у него волосы опали, и не только. И жена ушла.

– Твои все, сынок? – спрашивает Куцый у Шеи. – Ну, с богом. Поехали!

И мы поехали.

За воротами Ханкалы стоит съёмочная группа, девушка с микрофоном, где-то я её видел, с ней оператор, ещё какой-то мужик, весь в проводах.

Оператор ловит в кадр нутро нашего грузовика: Саня Скворцов – его кличут Скворец – из моего отделения, сидящий у края кузова, машет рукой, но тут же смущается и обрывает жест. Никто не комментирует его сентиментальный поступок, видимо, многие сами бы с удовольствием сделали ручкой оператору.

Мимо нежилых обгоревших сельских построек, соседствующих с Ханкалой, мы выезжаем к мосту.

За мостом – город.

Мы останавливаемся, пропускаем колонну, идущую из города. “Козелок”, бэтээр, четыре грузовика, БМП. На броне сидят омовцы, один из них посмотрел на нас, улыбнулся. Улыбка человека, выезжающего из Грозного, значит для нас очень много. Значит, там не убивают на каждом углу, если он улыбается?

На обочине крутится волчком собака, на спине её розовая проплешина, как у палёного поросё. Мелькает проплешина, мелькает раскрытая пасть, серый язык, дурные глаза. Кажется, что от собаки пахнет гнилью, гнилыми овощами. Движения её становятся всё медленней и медленней, она садится, потом ложится. Из пасти её начинает течь что-то бурое, розовое, серое – собака блюёт. Она блюёт, и рвотная жижа растекается возле головы собаки, забивает её ноздри. Собака пытается поднять голову, и жижа тянется за мордой, висит на скулах, сползает по шерсти. Псина испуганно вскакивает, будто чувствует, что легла на то самое место, где должна встретить смерть.

Она ползёт в сторону нашего грузовика, из-под хвоста тянется кровавый след. Собака несёт к людям свою плешь, свой свалевшийся в красный хвост, свои слипшиеся рвотой скулы, свои слезящиеся глаза.

Пацаны с ужасом и неприязнью смотрят на неё.

Шея неожиданно вскидывает ствол и стреляет собаке в голову, трижды, одиночными, и каждый раз попадает. Кажется, что черепная коробка открывается, как крышка чайника. Голова собаки заполнена рвотой. Её рвало внутренностями головы.

Кто-то дёргается от выстрела, но все сразу видят и понимают, что стреляет свой.

Переполошившиеся омоновцы из встречной колонны что-то крикнули нам.

Семёныч смотрит на Шею строго:

– Сынок, ну что ты творишь?

Мы въезжаем на мост.

Поездка воспринимается через смену запахов – наверное, в человеке просыпается затаённое, звериное: если в Ханкале по-домашнему веет портянками, тушёной, дымом, а за её воротами пахнет сыростью, грязью, то ближе к городу запахи становятся суше, злее.

Изуродованные кварталы принимают нас строго, в полной тишине. Пацаны застывают, вцепившись в свои автоматы. Все неотрывно смотрят в город.

Дома с обкусанными краями, груды битого серого кирпича... продавленные крыши качаются в зрачках сидящих у края грузовика. Улицы похожи на старые ужасные декорации.

Вдоль дороги встречаются дома, состоящие из одной лицевой стены, за которой ничего нет, – просто стена с оконными проёмами. Как же эти стены не падают на дорогу...

Пацаны смотрят на дома, на пустые окна в таком напряжении, что, кажется, лопни сейчас шина – многие разорвутся вместе с ней.

Ежесекундно мнится, что сейчас начнут стрелять. Отовсюду, из каждого окна, с крыш, из кустов, из канав, из детских беседок...

И всех нас убьют. Меня убьют.

Бывают же такие случайности – только приехали и с пылу с жару влетели в засаду. И все погибли.

Чувствую, что пацаны рядом со мной разделяют мои предчувствия.

Саня Скворцов засовывает ладонь за пазуху. Я знаю, что у него там крестик.

Пятиэтажки, обломанные и раскрошившиеся, как сухари. В комнате, обвалившейся наполовину, лишённой двух стен и потолка, стоит, зависнув над пыльной пятиэтажной пустотой, железная кровать...

...как же много окон...

Порой встречаются почти целые дома, жёлтые стены, покрытые редкими отметинами выстрелов, как ветрянкой. Если попадается деревянный дом – то почти всегда горелый, с провалившейся крышей.

Ближе к центру города, из-за ворот уцелевших сельских построек выглянул маленький чеченёнок, мальчик, показал нам сжатый кулачок, что-то закричал. Я попытался поймать его взгляд – мне показалось, он знает, что будет с нами, со мной.

ii.

Нас привезли к двухэтажной школе на окраине Грозного. Только машины въехали во двор, пацаны оживились: доехали! мы дома!

Филя, наш пёс боевой, радостно залаял, выскочив из машины, где смиренно лежал под лавкой. Понюхал грязь окрест себя, пробежался, пометил угол дома.

Теперь главное – обустроиться как следует. Неприятно, когда тебя сырого, несолёного пытаются сожрать...

Парни выпрыгивали из кабин, кости размяли, хотели было закурить, но – некогда: опять надо разгружаться.

Какой-то чин из штаба провёл Семёныча на второй этаж, показал помещение, где мы будем жить: большой зал, в котором буквой “С” уже расставлены в два яруса кровати.

Офицеры аккуратно прошли по коридорам, заглянули, не входя, в открытые классы. Кабинеты загажены, изуродованы, завалены поломанными партами.

Семёныч предупредил бойцов, чтобы по школе не шлялись, в классы не лезли: “Сначала сапёры пусть посмотрят, на свежую голову”.

В указанное чином помещение мы и стали таскать свои вещи под суетливым руководством начштаба – капитана Кашкина.

Забегая, оценивающе смотрим на обстановку...

Высокие окна зала защищены мешками с песком; над мешками висит упругая проволоочная сетка – наверное, её перевесили из спортзала. Кровати стоят в дальней безоконной половине помещения.

Снова бежим вниз. Что-то Хасана опять не видно...

Двор чистый, даже пара изначально зелёных, но с облупившейся краской лавочек сохранилась. Турник есть, правда, низкий, нашим бугаям по шею – кто-то уже примерился.

Во дворе стоит небольшая и, как оказалось, относительно чистая сараюшка, мы туда сразу кухню определили, так как то на первом этаже школы помещение, где, по всей видимости, была столовая, похоже на мусорню, дрянью и тряпьем увалено, грести там не разгрести.

Зато умывальня, совмещённая с трёмя толчками, оказалась вполне приличного вида. Около сортиров, конечно, всё обгажено, но, бросив жребий, мы выбрали несчастных, которые всё там приберут. Угодило на Женьку Кизякова, Серёжку Федосеева из нашего взвода и ещё двоих бойцов из второго.

Женька, его все зовут Кизя, этому совершенно не огорчился, зато Серёжка по кличке Монах – до спецназа он поступал в семинарию, хотел стать священником, но провалился на экзаменах, неразборчивые в церковных делах пацаны прозвали его Монахом – что-то недовольно промычал.

– Ты что, Монах, думал, мы тут часовню первым делом будем возводить? – интересуется недолюбливающий Монаха Язва. – Нет, голубчик, первым делом надо дерьмо разгрести.

– Вот и разгребай, – отвечает Монах, поставив лопату с замазанным совком к стене.

– Боец Федосеев! – спокойно говорит Язва. Монах не реагирует, но и не уходит.

– Не слышу ответа, – говорит Язва.

Монах безо всякого выражения произносит:

– Я.

– Приступить к работе.

Монах берёт лопату. Пацаны, присутствующие при разговоре, криво ухмыляются.

Освободившись, мы осматриваем школу со всех сторон, обходим её, внимательно ступая, прихватив с собой Филю. Пёс, по идее, должен залаять, почуяв мину.

За школой расположен будто экскаватором вырытый, поросший кустами длинный кривой овраг. В овраге – помойка и несколько огромных луж, почему-то не высыхающих. Дальше – заросли кустарника.

Школа обнесена хорошим каменным забором, отсутствующим со стороны оврага. Ворота тоже есть.

Слева от здания – пустыри, а дальше – город, но едва видный. Справа за забором – низина. За низиной проходит асфальтовая дорога, вдоль которой высится несколько нежилых зданий.

Неподалёку от ворот – полупорухенные сельские постройки, кривые заборы. Там тоже никто не живёт. Первые пятиэтажные дома жилых кварталов стоят метрах в двухстах от ворот школы.

“Ну, всё понятно... Жить можно”.

Как начало темнеть, выставили посты на крышу. Первой сменой ушло отделение Хасана.

Поужинав консервами, пацаны разлеглись. Моя кровать – у стены, на втором ярусе. Люблю, чтоб было высоко. Подо мной, на койке снизу, расположился Саня Скворец.

– Саня, ты знаешь, что Егор ссытся ночами? – не преминул поинтересоваться у него Язва.

Спать легли в муторных ожиданиях...

Долго кашлял, будто лаял, кто-то из бойцов.

Закрыв глаза, я почувствовал себя слабо мерцающей свечой, которую положили набок, после чего фитиль сразу же был залит воском. Всё померкло. С лаем куда-то убежала собака... Приснилась, наверное.

...А иногда всё было не так. Она просыпалась лениво. Утро теребило невнятную листву, как скучающий в ожидании.

В течение ночи Даша стягивала с меня одеяло и накручивала его совершенно невозможным образом на ножки. Просыпаясь от озноба, я шарил в полусвете руками, хватался за край, за угол одеяла, тянул на себя и засыпал, ничего не добившись. Спустя полчаса садился на диване, потирая плечи и ёжась. Чтобы завладеть своей долей одеяла, необходимо было разбудить её. Разве можно?

Я наврал, что не ходил курить. Постоянно ходил. Синее пламя конфорки, холодная табуретка. Когда я возвращался – солнце пиялилось на Дашу, как ошалевший шпик. Поджав под себя ножки, грудью на диване, она потягивалась в утреннем блаженстве, распластывая ладони с беленькими пальчиками. Совершенно голенькая. Какой же она ребёнок, господи, какая у меня девочка, сучка, лапа.

– Куда ты ушёл? Мне одиноко, – совершенно серьёзно говорила она.

...полежав у неё на поясничке, – мы располагались буквой “Т”, – я уезжал на работу в пригород Святого Спаса.

На сборы уходило семь минут. Потом сорок минут езды на электричке, три перекура по дороге.

Она ещё долго нежилась в кровати. Встав, неспешно заваривала и очень медленно пила чай. Одевалась обстоятельно (всего-то дел: маечка на голое тело, голубые шорты, а потом влезть в белые кроссовки, не развязывая их).

Аккуратно вывозила велосипед в подъезд. Руль охлаждал ладони, тренькал без надобности звонок, и мягко стучали колёса по ступеням.

На работе я постоянно нервничал, пугаясь того, что она упала, ушиблась, что её обидели, и звонил в её квартирку каждые полчаса. Спустя пять часов, угадав, что доносящиеся из квартиры звонки – междугородние, усталая и весёлая, моя девочка, возвращающаяся с прогулки, бросала велосипед в подъезде, сопровождаемая грохотом оскорблённого железа вбегала в квартиру, хватала трубку и кричала, потирая ушибленное о стол колено:

– Егорушка, я здесь, алло!
Голос её застигал меня, вешающего трубку.

* * *

– ...Егор, на крышу. Буди своих.

Я заснул в одежде, но бушлат и берцы снял, конечно. Ствол лежит между спинкой кровати и подушкой. На спинке кровати висит разгрузка, распираемая гранатами, “дымами”, двумя запасными магазинами в боковых продолговатых карманах и ещё тугим водонепроницаемым пакетом с патронами в большом кармане сзади.

Сажусь на кровати, свесив ноги. Непроизвольно вздрагиваю обоими плечами – зябко. Какое-то время хмуро и вполне бессмысленно смотрю на Язву, следя за тем, как он разбирает свою кровать.

– Чего там, на крыше? – интересуюсь.

– Высоко.

Ну что он ещё может ответить...

Бужу Кизю, Монаха, Кешу Фистова, Андрюху Суханова, Стёпу Черткова... Скворец сам проснулся – чутко спит.

– Береты не надевайте, – говорит нам Язва. – Маски¹ наденьте.

Выходим в коридор, тащим в руках броники. С удивлением смотрю на грязные выщербленные стены – куда меня занесло, а? Сидел бы сейчас дома, никто ведь не гнал.

Даша...

Поднимаемся по лесенке на крышу.

– Эй! – говорю тихо.

– На хер лей... – отвечает мне Шея нежно. – Давай сюда...

Объясняет, как нам расположиться – по двое на каждой стороне крыши.

– С постов не расползаться. Не курить. Не разговаривать. Без приказа не стрелять. Чуть что – связывайтесь со мной. Надеюсь, трассерами никто не снарядил автомат?

Я и Скворец ползём на ту сторону крыши, с которой виден овраг.

Крыша с трёх сторон обнесена кирпичной оградкой в полметра высотой. Просто замечательно, что она есть, оградка. Пацаны, которых мы смением, уползают спать. Мне кажется забавным, что мы, здоровые мужики, елозим по крыше.

– Ну как? – спрашиваю Хасана, ждущего нас.

– В Старопромысловском районе перестрелка была.

– Это далеко?

– Нормально... Чего броники-то притащили? Мы бы свои оставили.

Хасан, пригнувшись, убегает – не нравится ему ползать. Саня ложится на спину, смотрит в небо.

– Ты чего, атаку с воздуха ожидаешь? – спрашиваю иронично.

Саня переворачивается.

Приставляем броники к оградке.

Тихо, слабый ветер.

Вглядываюсь, напрягая глаза, в овраг. Смотрю целую минуту, наверное. От перенапряжения глаз начинает мерещиться чьё-то шевеленье там, внизу.

“Кто-нибудь сидит в овраге и в голову мне целит”, – думаю.

Начинает ныть лоб.

¹ “Маски” – длинные вязаные шапки с прорезями для глаз. Но, когда нет причины прятать лица, бойцы подкручивают ткань – и тогда маски выглядят как обычные головные уборы городской шпаны.

Ложусь лбом на кирпичи, сжимаю виски пальцами. Отходит.

– Егор, – чуть приглушённым голосом окликает меня Саня.

– А?

– Отлить хочу.

Поднимаю голову, снова смотрю на то место, что меня заинтересовало.

– Егор.

– Ну чего?

– Отлить хочу.

– И чего мне сделать?

Саня замолкает.

Бьёт автомат, небо разрезают трассеры. Далеко от нас.

“Трассеры уходят в небо...” – думаю лирично.

– Егор, как быть-то?

– А вот с крыши попробуй.

Меня вызывает по рации Шея.

– На приёме, – отвечаю бодро.

– Может, заткнётся?

Раздаётся характерный свист миномётного выстрела. Весь подбираюсь, даже ягодицы сжимаю.

“Мамочки! – думаю. – Прямо на крышу летит!”

Бахает взрыв чёрт знает где. Оборачиваюсь на Саню.

– Думал, что в нас, – сознаётся он мне.

Я не признаюсь.

Лежим ещё. Мешают гранаты в передних карманах разгрузки – больно упираются в грудь. Вытаскиваю их, укладываю аккуратно рядом, все четыре. Они смешно валяются и покачиваются, влажно блестят боками, как игрушечные.

Что-то здесь с воздухом, какой-то вкус у него другой. Очень густой воздух, мягкий. У нас теплей, безвкусней.

Смотрю по сторонам, направо – на асфальтовую дорогу, на дома вдоль неё. Везде темно.

Неожиданно близко – будто концом лома по кровельному железу – бьёт автомат. Трижды, одиночными.

Дёргаюсь, озираюсь; резко, как включённые в розетку, начинают дрожать колени.

– Со стороны дороги, из домов? – спрашиваю Саньку.

Шея запрашивает дневального, что делать. Дневальный, ещё не отпустив тангенту, зовёт Семёныча. Спустя десять секунд Куцый вызывает по рации Шею.

– Что там?

– Трижды, одиночными, вроде по нам.

– Наблюдайте, не светитесь.

Лежим в ожидании новых выстрелов. Жадно всматриваюсь в овраг. Руки дрожат. Ноги дрожат.

Начинает моросить дождь. Холодно и жутко.

“Зачем я всё-таки сюда приехал?... Ладно, хорош... Ничего ещё не случилось...”

Растираю по стволу автомата капли. Провожу мокрой ладонью по щеке. Щетина уже появилась... Нежно поглаживаю себя несколько раз.

Пробую подумать о доме, о Святом Спасе. Не получается. Хлопаем с Саней глазами. Где-то на крыше иногда шевелятся, шебуршатся пацаны. Спокойней от этого.

Санёк смотрит назад, по-над головами фронтального поста.

– Егор, а вот если чичи влезут на крышу вон тех хрущёвок, – говорит он, указывая на дома, смутными пятнами виднеющиеся вдалеке, – то можно отстрелить нам с тобой жопу.

– Жопы, – поправляю я Саню и тоже оборачиваюсь.

– Чего? – не понимает он. Я молчу, щурю глаза, узнавая в темноте хрущёвки.

“Оттуда стреляли? Совсем близко где-то... А если действительно с крыш хрущёвок полоснут?”

От страха у меня начинается внутренний дурашливый озноб: будто кто-то наглыми руками, мучительно щекоча, мочет мои внутренности. Я даже улыбаюсь от этой щекотки.

“Ничего, Санёк...” – хочу сказать я – и не могу.

“Курить хочется...” – ещё хочу сказать я и тоже не нахожу нужным произносить это вслух. Неожиданно сам для себя говорю:

– Мне в детстве всегда такие случаи представлялись: вот мы с отцом случайно окажемся в горящем доме, среди других людей... Или – на льдине во время ледохода... Все гибнут, а мы спасаемся. Постоянно такая ересь в голове была.

– Чего, до сих пор не прошло? – интересуется Саня.

– Не знаю...

– Тяжёлый случай, – резюмирует Саня, помолчав.

Ползёт смена.

– Ну, как тут? – спрашивают.

– Высоко, – отвечаю.

Вернувшись, без спросу выпиваю у чаёвничающего дневального три глотка кипятка. У меня из рук перехватывает кружку Скворец и, отхлебнув, отдаёт, пустую, дневальному. Ложусь на кровать прямо в бушлате и сразу засыпаю.

iii.

Утром, к моему удивлению, мы проснулись, с гоготом умылись и, за неимением обеденных столов рассевшись по кроватям, стали есть. Мы не рванули, поднятые по тревоге, кто в чём спал отбивать атаку бородатых чеченов, – думаю, когда ехали сюда, каждый был уверен в том, что события будут развиваться именно таким образом. Нет, мы поднялись и стали радостно жрать макароны.

Завтрак приготовил боец по кличке Плохиш, назначенный поваром. В макаронах – тушёнка, всё как у людей. Компот очень ароматен. Дашин затылочек так пахнет.

Разбудил нас, кстати, тоже Плохиш. В шесть утра дневальный его толкнул, услышал в ответ неизменное при обращении к Плохишу, скороговоркой произносимое “иди нахуй”, после чего неустанно толкал его ещё минуты две. Наконец Плохиш поднял своё пухлое, полтора метра в высоту, тело и закричал. Голос его был высок и звонок. Так, наверное, кричала бы большая, с Плохиша, крыса, когда б её облили бензином и подожгли.

Плохиша все знали не первый день. Кто-то накрыл голову подушкой, кто-то выругался, кто-то засмеялся. Куцый рывком сел на кровати и, схватив из-под неё ботинок, кинул в выходящего Плохиша. Через мгновение дверь открылась, и в проёме появилось его пухлое лицо.

– А не хера спать! – сказал Плохиш, и дверь захлопнулась.

– Дурак убогий! – крикнул ему вслед Семёныч, впрочем, без особого зла. Кто другой вздумал бы так орать – изуродовали бы. А Плохишу – прощалось.

Доскрябали тарелки и пошли курить.

Озябшие пацаны второй смены, с чуть припухшими от недосыпа лицами, спустились с крыши.

На второй день всё как-то поприветливее показалось. И небо вроде не такое серое, и дома не столь уж жуткие. И, главное, братки рядом...

– Чем мы здесь заниматься-то будем, взводный? – спрашиваю у Шеи.

Он пожимает огромными плечами.

– Вроде комендатура тут будет, – говорит Шея, помолчав.

“Вот было бы забавно, если бы мы в этой школе прожили полный срок и никто б о нас не вспомнил...” – думаю.

За перекурком выяснилось, что Хасан жил в этом районе. Его почти не разрушенный дом виден из школы.

– У тебя кто из родни здесь? – спрашиваю.

– Отец.

– А у меня батя помер... Я из интернатовских, – зачем-то говорю я Хасану, в том смысле, что и без папани люди живут. – И мать меня тоже бросила, я её даже не помню... – добавляю бодро.

Он молчит.

“Не бестактно ли я себя веду?” – думаю.

“Вроде нет”, – решаю сам для себя. В первую очередь потому, что Хасана явно не очень волнует биография Егора Ташевского. Егор Ташевский – это я.

Отец умер, когда мне было шесть лет.

Мы жили в двухэтажном домике на левобережной, полусельской стороне Святого Спаса.

Отец научил меня читать, писать, считать.

Я прочитал несколько тонких и малохудожественных, но иллюстрированных книжек о нашествии храбрых и жестоких монголов. Очень огорчился, что нигде не упоминается Святой Спас. Русские богатыри вызвали во мне уважение.

Я исписал стену на кухне своим именем, а также именами близких: отца – “Степан”, нашей собаки – “Дэзи”, деда по матери – “Сергей”. Дед жил в небольшом городке километрах в ста от нас. Я начал писать имя нашего соседа – “Павел”, – но забыл, в какую сторону направлена буква “В”, и бросил.

Считать мне нравилось. Прибавлять мне нравилось больше, чем отнимать. Но умножать меньше, чем делить. Делить столбиком, аккуратно располагая цифры по разным сторонам поваленной набок фамильной буквы “Т”, было увлекательным и красивым занятием.

Вечерами отец рисовал, он был художником, а я делил столбиком. Он называл мне трёхзначную цифру, которую я старательно записывал. Потом он называл двузначную, на которую нужно было поделить трёхзначную. Я пребывал в уверенности, что мы оба заняты очень серьёзным делом. Возможно, так оно и было.

Я попросил отца нарисовать богатырей, и он оставил уже начатую картину, чтобы выполнить мою просьбу. Я знал его шесть лет, и он мне ни разу ни в чём не отказал.

Он начал рисовать битву, Куликово поле, я сидел у него за спиной. Иногда я отвлекался, чтобы поймать пересекающего комнату таракана. Таракана я прикреплял пластилином к дощатому полу. Некоторое время наблюдал, как он шевелит передними лапками и усами, потом возвращался к отцу. На холсте уже появлялась ржущая морда коня, нога в стремени, много густых алых цветов под копытами. Наверное, отец рисовал не Куликово поле – ведь та битва случилась осенью.

Мы ложились спать вместе. Каждый вечер отец несколько часов читал при свете ночника. Иногда он курил, подолгу не стряхивая пепел. Я следил за сигаретой, чтобы пепел не упал на грудь отцу. Потом я смотрел в потолок, думал о богатырях. Порой на улице начинала лаять Дэзи, и я мечтал, что сейчас войдёт мама, которая бросила нас, когда мне было несколько месяцев.

Когда отец читал, он не дышал размеренно, как обычно дышат люди. Он набирал воздуха и какое-то время лежал безмолвно, глядя в книгу. Думаю, воздуха ему хватало больше чем на полстраницы. Потом он выдыхал, некоторое время дышал равномерно, добегал глазами страницу, переворачивал её и снова набирал воздуха. Он будто бы плыл под водой от страницы к странице.

Да, ещё он научил меня плавать. Летом он продавал несколько картин, как я потом понял, очень дёшево, брал отпуск, и мы долго и мучительно ехали в забытую богом деревню, где каждый год снимали один и тот же домик возле нежной и ясной реки, пульсирующей где-то в недрах Черноземья.

Утром мы завтракали варёной картошкой, луком и жареной печёнкой, а потом целый день лежали в песке на берегу. Дэзи сидела рядом с нами. Когда отец переворачивался с боку на бок, она меняла положение вместе с ним, аккуратно прилаживаясь в тень от его большого тела.

Иногда по течению плыли яблоки, и отец, войдя в воду, за несколько мгновений догонял их, собирал и приносил мне. Если не хватало рук, чтобы собрать яблоки, он кидал их из воды на берег. Откуда плыли яблоки? Не знаю...

Я забыл, как он начал учить меня плавать. Наверняка не говорил: “Давай-ка, малыш, я научу тебя плавать!” Скорее он просто поплыл на тот берег и предложил мне отправиться с ним, держась за его шею. Мы так сплавляли несколько раз, и я привык работать ногами.

Ну а дальше я учился, как все мальчишки, – вдоль бережка, три-четыре метра вплавь, загребая под себя руками, и так десятки раз. Потом немножко от берега в глубину, и сразу – в ужасе дёргая всеми конечностями – обратно.

Отец не учил меня плавать нарочито, не возился со мной, поддерживая меня под грудь и живот, чтобы я у него на руках бултыхал ногами и руками. Он даже ничего мне не объяснял. Но я всё равно убежден, что плавать меня научил он.

Вечером мы ели омлет, изготовленный отцом из всего, что было в холодильнике: сыра, колбасы, помидоров, перца, лука, чеснока. Молоко нам продавала старушка-соседка, отец ей платил за месяц вперёд.

Мы возвращались в Святой Спас в сентябре, поджарые и загорелые.

Отца ждала работа – он занимался оформлением кинотеатра, районной администрации, рисовал афиши, плакаты, некрасивого Брежнева и красивого Ленина.

Я гулял. Отец всегда забегал с работы, чтобы меня покормить. А в пять часов вечера я уже ждал его, сидя на подоконнике нашего двухэтажного дома. Он выворачивал из-за угла, иногда чуть-чуть поддатый, но самую малость, ласково кивал мне. Выпив, он становился немного сентиментален. Трезвым он был спокойным, ясным, чистым – всегда чисто выбритый, с ровно постриженными ногтями, в рубашке, расстёгнутой на волосатой груди, немногословный.

Не помню, чтобы отец грустил. Он никогда не разглядывал фотографии мамы, оставшиеся у нас. Но он их и не прятал, они были наклеены в два альбома, лежавшие на книжных полках, и я их часто листал.

У отца, видимо, были какие-то женщины, но я их никогда не видел.

Впрочем, вру. Однажды он был приглашен на чью-то свадьбу. Я заскучал и пошёл посмотреть на него. Я увидел его возле дома, где происходило празднество, сидящего на лавочке в компании молодой женщины.

– А это мой малыш, – сказал отец тоном, в котором из всех людей на Земле только я, его сын, смог бы почувствовать некоторую неестественность. Я даже не поздоровался с женщиной и сразу ушёл. Отец скоро вернулся. Я лежал на диване, разглядывая наш старый неработающий приёмник. Белыми буквами на лицевом стекле были написаны названия городов – Лондон, Нью-Йорк, Стокгольм, Москва, Токио... Иногда я включал приёмник и крутил ручку, благодаря чему белый стержень за стеклом приёмника передвигался от города к городу. Раздавался слабый и разнящийся при подходе к каждому городу треск. В одном из этих городов жила мама.

Отец разделся и лёг рядом, взяв книгу. Очень глупо было бы, если б он обнял меня в эту минуту, сказал бы что-нибудь. Я тогда уже это чувствовал. Он и не собирался этого делать, мой папа.

После того как отец нарисовал мне битву, где было всё, что я хотел: мужик-ополченец в разодранной рубахе, вздымающий на вилах вражину; дружинник, замахнувшийся коротким мечом и пропустивший удар копья, вползающего ему в живот; неприглядные, желтолицые и хищные монголы, как дождевые черви, разрубаемые на части; лучники, натягивающие луки окровавленными пальцами; стяги, кони, – после того как отец закончил работу, на которую сбегалась смотреть пацанва со всего пригорода, он нарисовал ещё одну картину. Там горел русский город, русский монгол пил из чаши, лежали связанные князья, взирающие в смертной печали на пожар, а рядом с монголом стояла обнажённая полонянка с лицом моей матери.

Отец не продал эту картину, он обменял её на трёхлитровую банку самогона. Потом он отвёз меня к деду Сергею, который проклял мать сначала за то, что она вышла замуж за моего отца – он деду не нравился – а потом ещё раз проклял, уже за то, что она отца и меня бросила. Ко мне дед относился равнодушно, но без злобы. Он много охотился, но меня с собой на охоту никогда не брал. Я гостил у него раза три в год, недели по три, – всё это время, как я понимаю, отец пил. Потом он выходил из запоя и приезжал за мной. Я был счастлив. Однако за шесть лет мне так ни разу и не пришло в голову, что я обожаю отца...

Дома было чисто, и меня восторженно встречала исхудавшая Дэзи, и вертелась около меня, будто бы хотела рассказать та-ко-е! Но не могла – и просто подпрыгивала, облизывая меня.

Однажды, в конце марта, отец не пришёл с работы, меня забрала к себе тётя Аня, жена дяди Павла, нашего соседа. Говорят, она очень помогала отцу, когда я был совсем мал, но я это помню смутно. Теперь мне иногда кажется, что она любила отца, но откуда мне знать...

– Степану стало плохо, – сказала она мужу.

Я переночевал у них. Я был очень спокоен. Я съел котлету и макароны на завтрак. Я выпил чаю с пряником. Отец не мог меня бросить.

Утром мы пошли с тётей Аней в районную больницу. Там нам сказали, что отца перевели в городской центр кардиологии. Мы отправились туда на автобусе. Тётя Аня долго выясняла у кондуктора, нужно ли за меня платить. Мне было жутко неприятно, что она так меня унижает.

Я сидел у окна. В кармане у меня лежала расчёска, и я отламывал от неё зубцы, пока они не закончились.

В кардиологическом центре нас встретила очень красивая женщина-врач. Она сказала, что завтра отцу будут делать операцию на сердце. Потом врач, попросив меня посидеть на скамеечке, отошла с соседкой к окну и о чём-то с ней в течение минуты говорила. Я любовался врачом.

Пообщавшись с соседкой, она взяла меня за руку и отвела к отцу. В палате пахло лекарствами. Отцом в палате не пахло. Я это сразу почувствовал. Не было его запаха – сильного тела, табака, красок, омета. Он лежал на кровати. Глаза его словно упали на дно жутких коричневых кругов, образовавшихся вокруг глаз. Это был неестественный цвет, это был взгляд умирающего человека. Я сразу это понял, хотя такого знания у меня быть не могло.

Отец, – я хотел сказать “улыбнулся”, но это слово не подходит, – он расклеил слипшиеся губы и запустил в свои открытые глаза, отражавшие мутный, в потёках, потолок и бесконечную боль, – он запустил в них жизнь, узнавание, еле ощутимую толику тепла, давшуюся ему неимоверным усилием воли.

– Как ты меня нашёл? – спросил он.

Я не решился подойти к нему и стоял у его ног, держась за спинку кровати. Он закрыл глаза. Я сделал несколько шагов и сел на стул, стоявший поодаль от его изголовья. Я попытался пройти быстро, пока он не открыл глаза, прошмыгнуть. Когда он открыл глаза, я уже сидел рядом.

– Ничего, Егор... – сказал отец.

Он попытался двинуть рукой. Полежал ещё.

– Егор, няньку... – прошептал он.

Я беспомощно посмотрел на дверь, и тут нянька вошла.

– Помочиться? – спросила она просто, будто слышала. В руке у неё была только что вымытая утка, в каплях воды. Отец кивнул.

Нянька стала поворачивать отца на бок, он зажмурился. Ему было ужасно больно, я это знаю. Помню, однажды он порезал на пилораме руку, едва не до кости, хлестала кровь, а он даже не побледнел, замотал чем-то располосованную надвое мышцу ладони и, взяв мою вспотевшую лапку здоровой рукой, пошёл в травмпункт зашивать рану. Сидя у кровати, я посмотрел на этот белый шрам. Отец сжал кулак, и кулак впервые за шесть лет показался мне маленьким, беспомощным, в стоящих дыбом порыжевших волосках. Рука была бледно-синей... почти бесцветной.

– Иди, Егор... – сказал отец еле слышно.

Мы, я и тётя Аня, вернулись домой. Я не пошёл спать к соседке, а лёг спать с Дэзи, взяв её в дом. Собака слезла с кровати и забралась под неё, – она тогда уже была в обиде на меня. Я лежал, и смотрел в стену, и был уверен, что не усну. Но уснул и спал до утра.

Ночью отец умер.

После похорон я пришёл домой, поставил кипятить чай, взялся подметать пол. Потом бросил веник и под дребезжанье ржавого чайника написал на стене: “Господи блядь гнойный вурдалак”, – я вспомнил, как пишется буква “в”.

...Меня и Дэзи забрал дед Сергей.

Так всегда на новом месте: первые дни наполнены содержанием до предела, они никак не могут закончиться, – скажем, первые трое суток. Говорят, потом дни здесь начинают кувыряться через голову, стремительные, совершенно одинаковые.

На второе утро мы вымели грязь, помыли полы, сложили в большой ящик гранаты, похожие на обмороженные гнилые яблоки, установили три обеденных стола – для офицеров и для двух взводов. Пацаны из нашего взвода полезли на крышу – осмотреть как следует окрестности и толком оборудовать посты.

На крыше я открываю вторую за начавшийся день пачку сигарет, Слава Тельман из нашего взвода тут же угощается, он всегда на халяву курит.

Мы обустроиваем небольшими плитами гнездо для пулемёта на фронтальной стене школы, прямо над входом. На углах крыши выкладываем кирпичом, мешками, набитыми песком, ещё четыре поста. На каждом из постов – по две бойницы.

– Всё равно – лажа, – говорит Шея. – Один выстрел из “граника” – и...

Тем временем пацаны из второго взвода в овраге за школой, с той стороны, где нет забора, ставят растяжки.

Потом все вместе приступаем к постройке двух дотов по разным сторонам школы.

Начштаба нашёл в подвале цемент, песок, брус. Среди бойцов отыскивались мастера на все руки.

В работе видно, насколько, с переизбытком, здоровы наши пацаны, легко берущие вес, который и четверо взрослых мужиков не взяли бы.

Иные бравируют своей силой, но в меру.

Звучит и потрескивает на лету весёлая, непрестанная матерщина.

Семёныч время от времени просит по рации посты на крыше смотреть во все глаза: едва ли не весь отряд толпится в школьном дворе – один выстрел из подствольника, и сразу будет мясной урожай.

Заботливо украшаем не доделанные толком доты маскировочными сетями.

Полюбовавшись на дело крепких и цепких рук своих, собираемся обедать.

Отведав щей и гречки с тушёнкой, позвякивая тарелками, тянемся мыть посуду.

Те, кому места возле умывальников не достается, идут курить или ещё куда.

Я, по любимой привычке, смолю, запивая дым горячим чайком.

Мою тарелку, возвращаясь к своей лежанке в “почивальне”, как мы прозвали наше помещение, пытаюсь улечься и, только коснувшись затылком подушки, слышу взрыв. Грохает где-то неподалёку, вроде бы на втором этаже... с потолка сыпется побелка. Вскрикивает с места и лает Филя, ночующий вместе с нами, под кроватью сапёра Старичкова.

“Началось...” – думаю я, спрыгивая с кровати и ещё не определив для себя, что именно началось. Тяну за ствол лежащий под подушкой автомат.

– Кто-то подорвался, – тихо говорит со своей кровати Шея, не двигаясь и, видимо, понимая, что спешить особенно некуда.

Пацаны кинулись было к месту взрыва.

– Стоять! – орёт Семёныч, вбегающий с первого этажа.

– Док! – зовёт Семёныч дядю Юру, так мы называем нашего доктора.

Дядя Юра – подобно пингвину суетливый и сосредоточенный одновременно и сам похожий на чуть похудевшего пингвина – спешит бок о бок рядом с Семёнычем. Шагая за ними, я замечаю, что в то время как Семёныч идёт, дядя Юра, не умея подстроиться под шаг командира, иногда, семеня, бежит.

Док обгоняет Семёныча в конце коридора, увидев нашего бойца, молодого, из второго взвода, пацана, незадолго до командировки устроившегося в отряд, я даже не помню, как его зовут. Он лежит возле одного из кабинетов, на спине, согнув ноги. Косяк двери выворочен. Тяжело стоит пыль.

Я ещё не успел разглядеть подорвавшегося, как присевший возле него док сказал тихо:
– Живой... – И добавил шёпотом: – Осколочные...

Раненый, будто в такт чему-то, мелко постукивает ладонью по полу. Когда док присел возле него, движение руки прекратилось, и раненый застонал.

Док быстрыми ловкими движениями взрезает скальпелем брючину, открывается нога, покрытая редкими волосами, ляжка, откуда-то сверху на эту ляжку сбегает струйка крови, потом ещё одна, и очень быстро почти вся нога становится красной. Док разрезает вторую брючину и сдвигает небрежным пальцем трусы. Из кривого розового члена торчит осколок. Пока я смотрю на этот осколок, док вкалывает раненому укол, обезболивающее. Промедол, кажется.

– Док, а я с девушками смогу? – неожиданно спрашивает раненый, открыв глаза.

– Только с мальчиками... – тихо говорит Язва у меня за спиной. Мне кажется, что он улыбается.

Док не отвечает. Семёныч брезгливо морщится. Но брезгливость его не вызвана видом раненого.

Из-под спины пацана растекается между кирпичных осколков и белой кирпичной пыли густая лужа. Я двигаю ногой один из битых кирпичей. Бок у него – окровавленный. Док рвёт пуговицы на кителе раненого, взрезает тельник. В груди, в животе, на боку, беспрестанно подрагивая, кровоточат ранки.

Док цепляет ногтями один из виднеющихся в боку осколков, вытаскивает его, мелкий, похожий на клювик злой птицы. Затем ещё один – из члена, придавив половой орган другой рукой, обернутой в платок. Раненый вскрикивает.

Я спускаюсь вниз. По дороге закуриваю, хотя курить в здании, за исключением туалета, Семёныч запретил. Следом идёт Шея.

– Говорили же не лезть в классы. Что за уроды... – говорит ни для кого.

– Старичков! – зовёт спускающийся следом Семёныч нашего сапёра. – Ты чем занимался?

– Я растяжки ставил со стороны оврага.

– Он растяжки ставил, – подтверждает начштаба.

Раненого сносят вниз.

Вызывают из штаба округа машину.

– Ну мудака, – всё ругается на улице Шея.

– Тебе что, его не жалко? – спрашиваю я.

– Мне? Мне жён и матерей жалко. Сейчас этого урода привезут в Святой Спас, он через неделю бегать будет, а у всей родни из-за него истерика начнётся. Моя мать с ума сойдёт.

Выходит, улыбаясь, док.

– Чего он? – неопределенно спрашивает кто-то, имея в виду подорвавшегося.

– Говорит, зашёл в класс и услышал щелчок. Успел отпрыгнуть.

Семёныч через начштаба объявляет построение.

На построении мы слышим, что весь младший начальствующий состав – размандяи, старший начальствующий состав – размандяи, что если мы по дороге сюда забыли дома воздушные шары, флажки и мыльные пузыри, то... ну и так далее.

В итоге на каждом этаже выставляют пост, а командир второго взвода, Костя Столяр, самолюбивый хохмач и шутило, получает от Семёныча искренние уверения, что на премиальные, а также доброжелательное отношение офицерского состава он может не рассчитывать.

– Я сейчас пойду его добыю, – говорит Костя после развода, имея в виду раненого.

Через час невезучего и чересчур любопытного бойца увезли.

Из штаба приехал и остался в школе чин; где-то я его уже видел...

Семёныч с капитаном Кашкиным написали объяснительную бумагу – о том, что боец был ранен при выполнении задания по разминированию помещения.

Не скажу, что парни огорчились из-за того, что нас на одного стало меньше.

Пару перекуров мы обсуждали произошедшее, а потом – забыли, как и не было.

Отвлеклись на иные заботы.

iv.

Наверное, от местной воды у парней началось расстройство животов. Держа в руках рулоны бумаги, бугаи наши то и дело пробегают по коридору, топая берцами и на ходу расправляя штаны.

– Хорошо, что мы пока никому не понадобились! – ругается Куцый, впрочем, глаза его щурятся по-отцовски нежно. – Вот сейчас бы нас на задание сняли! А команда – вдрызг обделалась!

Когда подходило время дежурства, некоторые вообще впадали в неистовство – охота ли по крыше туда-сюда, таясь, елозить, когда хочется бежать изо всех сил. За подобное беспокойное поведение на посту Шея вставил бы парням пистон, кабы сам не страдал тем же недугом.

Меня это расстройство миновало.

Хоть мы и прожили два дня спокойно, массовый понос на настроение парней действует удручающе, это чувствуется. Разве что Плохиш ведёт себя так, как, верно, вёл себя в детском саду. Тем более что у него с желудком тоже нет проблем, и это даёт ему все основания подкалывать парней. Правда, когда он в коридоре, придуриваясь, повис на рукаве спешащего в сортир Димки Астахова (“Подожди, Дим, сказать кое-чего хочу”), – Дима разразился таким матом, что Плохиш быстро отстал, что случается с ним исключительно редко. Астахову вообще-то не свойственно повышать голос, но в данных обстоятельствах промедление могло для него окончиться грустно.

Однако некоторый невроз, скрываемый в клубах дыма бесконечных перекуров, происходящих прямо в туалете, чтоб не удаляться от спасительных белых кругов, и откровенная мутная тоска – это разные вещи.

Вот, скажем, Монах – не курит, не шутит, он сидит на кровати, бессмысленно копошится в своём рюкзаке.

Лицо его покрыто следами юношеской угревой сыпи. Он раздражает многих, почти всех. За безрадостный душевный настрой Язва называет его “потоскуха” – от слова “тоска”. Кроме того, у Монаха всё валится из рук: то ложку он уронит, то тарелку, – что дало основание Язве называть его “ранимая потоскуха”. Утром Монах, спускаясь по лестнице, упал, и Язва тут же окрестил его “падучей потоскухой”.

Монах корябает ложкой о посуду, когда ест, постукивает зубами о кружку, когда пьёт чай, быстро и неразборчиво отвечает, если его спрашивают. Издалека его голос похож на курлыканье индюка. Когда он ест, пьёт или говорит, по всему его горлу движется кадык, украшенный несколькими длинными чёрными волосками. У него тошный вид.

– Ты чего, протух? – спрашивает его Язва.

– Что? – не понимает Монах. В слове “что” у Монаха букв шесть, причём не все они имеют обозначение в алфавите, – три буквы, составляющие произнесённое им слово, обрываются всевозможными свистящими призвуками.

Язва смотрит на него, не отвечая. Сурово шмыгает носом и выходит покурить.

Монаху ясно, что его обидели, он ещё глубже зарывается в свой рюкзак, куда с удовольствием забрался бы целиком, завязавшись изнутри. Копошась в рюкзаке, он пурхает горлом.

После обеда Монах, послонявшись по “почивальне”, подходит к моей лежанке.

– Ну что, Сергей? – говорю, разглядывая его лоб.

Монах что-то бурчит в ответ.

– Как настроение? Воинственное? – спрашиваю я.

– Война – это плохо, – неожиданно разборчиво произносит Монах.

– О как... А почему?

– Убивать людей нельзя, – продолжает Монах.

- Кто бы мог подумать, – говорю, не нашедшись как сострить.
- А почему нельзя? – интересуется Женя Кизяков, приподнимая голову с соседней кровати.
- Бог запрещает.
- Откуда ты знаешь, что Он запрещает? – ухмыляется Кизяков.
- Глупый вопрос, – отвечает Монах. – Это Божья заповедь: “не убий”. Спорить с Богом по меньшей мере неумно. Соотношение разумов – как человек и муравей...
- Его поучительный тон меня выводит из себя, но я улыбаюсь.
- А зверям Он запрещает убивать? – спрашиваю я.
- Кизяков смотрит на нас и даже подмигивает мне.
- Звери бездумны, – отвечает Монах.
- Кто тебе сказал? – опять спрашивает Кизяков.
- Монах молчит.
- Они бездумны, и, значит, у них нет Бога? – спрашиваю я.
- Бог един для всех земных тварей.
- Но собаке, например, той, что Шея застрелил, ей не нужен человеческий Бог, она в нём не нуждается. Ни в отпущении грехов, ни в благословении, ни в Страшном суде, – говорю я.
- Она бездумная тварь, собака, – отвечает Монах.
- Я изумлённо наблюдаю за движением его кадыка, такое ощущение, будто у него в горле переворачивается плод.
- Всё это старо... – неопределённо добавляет он, и кадык успокаивается, встаёт на место.
- Монах поворачивается, чтобы уйти.
- погоди, Сергей, – останавливаю я его. – Я ещё хочу сказать...
- Монах уходит к своей кровати, садится с краю, словно он на чужом месте.
- Сергей! – зову его я.
- Он оборачивается.
- Сказать кое-чего хочу.
- Монах молчит.
- Как появляется вера? – говорю я, перевернувшись в его сторону. – Верят те, кто умеет сомневаться, чьи сомнения неразрешимы. Не умеющие разрешить свои сомнения начинают верить. Звери не умеют сомневаться, поэтому и верить им незачем. А человек возвёл своё сомнение в абсолют.
- Это... ерунда... – отвечает Монах, он встаёт с кровати и вновь возвращается ко мне. – Ересь. Человек возвёл в абсолют не страх свой и не сомнение, а свою любовь. Любовь с большой буквы, неизъяснимую... Только любовь человеческая предельна, а Бог – не имеет границ, Он вмещает в себя всю любовь мира. И сама Его сущность – это любовь.
- И Бог велел нам возлюбить любовь?
- Да. Возлюбить Бога, возлюбить ближнего своего, потому что только на этом пути есть истина.
- И Он сказал: “Не убий, ибо гневающийся напрасно на брата своего подлежит суду”.
- Сказал.
- А как ты думаешь, почему Он сказал “гневающийся напрасно”? Значит, можно гневаться не напрасно?
- Что ты имеешь в виду?
- Ты знаешь что. Бог заповедовал нам возлюбить Бога, ближних своих и врагов своих, но не заповедовал нам любить врагов Божьих. Ты же читал жития святых – там описываются случаи, когда верующие убивали богохульников.
- Бог не принимает насилия ни в каком виде.

– А когда ты ребёнку вытираешь сопли – это насилие? Когда врач заставляет женщину тужиться – насилие?

– Согласно заповеди Божьей убийство неприемлемо.

– Бог дал человеку волю бороться со злом и разум, чтобы он мог отличить напрасный гнев от гнева ненаправленного.

– Бессмысленно бороться со злом – на всё воля Божья.

– Если на всё Божья воля, так ты не умывайся по утрам – Бог тебя умоет. И подмоет. Не ешь – Он тебя накормит. Не лечи своего ребёнка – Он его вылечит. А? Но ты же умываешься, Монах! Ты же набиваешь живот килькой, презрев Божью волю! Может, Он вообще не собирался тебя кормить!

– Не идиотничай, Егор. Ты хочешь сказать, что здесь ты выполняешь волю Божью?

– Я просто чувствую, что гнев мой не напрасен.

– Как ты можешь это почувствовать?

– А как человек почувствовал, что нужно принять священные книги как священные книги, а не как сказки Шахерезады?

– Человеку явился Христос. А тебе кто явился, кроме твоего самолюбия? Ты же ни во что не веришь, Егор!

– Эй, софисты, вы достали уже! – кричит Язва.

Я и не заметил, как он вернулся.

Мне очень хочется ответить Монаху, но я понимаю, что этот разговор не имеет конца. По крайней мере, сегодня его не суждено закончить.

Я выхожу из школы, я возбуждён. Я всё ещё разговариваю с Монахом – про себя. Обернувшись на него, вновь усевшегося на кровать и начавшего копошиться в рюкзаке, я вижу, что и он со мной разговаривает, – молча, сосредоточенно, глубоко уверенный в своей правоте.

Во дворе, за своей кухонькой, Плохиш, натаскав из школьного подвала поломанных ящиков, разжёл костёр. Пацаны сидят вокруг костра, курят, переговариваются. В ногах лежат автоматы.

Плохиш подбрасывает в огонь щепки, ему жарко. Он снимает тельняшку, остаётся в штанах и в берцах.

Выходит из школы Женя Кизяков.

– О, Плохиш, какой ты хорошенький! Как Наф-Наф.

– Иди ко мне, мой Ниф-Ниф! – дурит белотелый пухлый Плохиш, призывая Женю.

Кизяков спускается по ступенькам. Он шутливо хлопает Плохиша по спине:

– Потанцуем?

Кизяков и Плохиш начинают странный танец вокруг костра, подняв вверх руки, ритмично топая берцами. Пацаны посмеиваются.

– Буду погибать молодым! – начинает читать рэп Плохиш в такт своему танцу. – Буду погибать! Буду погибать молодым! Буду погибать!

– Буду погибать молодым! – подхватывает Женя Кизяков. – Буду погибать!

– Буду погибать молодым! Мне ведь поебать! – кричит Плохиш.

Костя Столяр уверенно задаёт ритм, используя перевёрнутый железный бак в качестве там-тама...

Ещё кто-то пристраивается к танцующим, держа автоматы в руках, как гитары, покачивая стволами. Начинают подпевать. Плохиш подхватывает свой ствол с земли, поднимает вверх правой рукой, держа за рукоять. Кизяков тоже поднимает “калш”.

– Будем погибать молодым! Нам ведь поебать! Будем погибать молодым! Нам ведь поебать! – орут пацаны.

В телефонной трубке, словно в медицинском сосуде, как живительная жидкость переливался её голос. Она говорила, что ждёт меня, и я верил, до сих пор верю.

На следующее утро я возвращался к ней. По дороге заходил в булочную купить мне и моей Даше хлеба. Булочная находилась к востоку от её дома. Я это точно знал, что к востоку, потому что над булочной каждое утро всходило солнце. Шёл и жмурился от счастья, и потирал невыспавшуюся свою рожу. На плавном асфальте, успевшем разогреться к полудню, дети в разноцветных шортах выдавливали краткие и особенно полюбившиеся им в человеческом лексиконе слова, произношение которых так распяляло мою Дашу несколько раз в течение любого дня, проведённого нами вместе. У меня богатый запас подобных слов и более или менее удачных комбинаций из них. Гораздо богаче, чем у стыдливо хихикающих детей в разноцветных шортах.

Булочная располагалась в решётчатой беседке, пристроенной к большому и бестолковому зданию.

До сих пор не знаю, что в нём находилось. В ту пору никакие помещения, кроме кафе, нас с Дашей не интересовали. Чтобы подняться к продавцу, надо было сделать шесть шагов вверх по бетонным ступеням. От стелющихся ступеней шёл блаженный холод, в беседку булочной не проникало солнце.

Идя навстречу солнцу, я жмурился и вертел бритой в области черепа и небритой в области скул и подбородка головой, но, войдя в беседку, наконец раскрывал глаза. Видимо, от того, что я так долго жмурился и вертел головой, и от солнца, в течение нескольких минут ходьбы до булочной наполнявшего мои неумытые глаза, на меня, вошедшего в беседку и сделавшего несколько шагов по бетонным ступеням, накатывала тягучая сироповая волна головокружения, сопровождающаяся кратковременным помутнением в голове. Открытые глаза мои плавали в полной тьме, которую иногда пересекали запускаемые с неведомых станций жёлтые звёздочки спутников. Потом тьма сползала, открывая богатый выбор хлебной продукции, себе я покупал чёрный, вне всякой зависимости от его мягкости, хлеб. На выбор хлеба Даше уходило куда больше времени. Собственно хлеба, в конце концов, я ей не покупал. Тринадцать пирожных, радость от которых никак не сказывалось на красотах моей любимой девочки, впрочем, я об этом тогда и не задумывался, но когда задумался, мне это понравилось, – итак, липкая компания пирожных безобразно заполняли купленный здесь же, в булочной, пакет, измазывая легкомысленным кремом суровую спину одинокой ржаной буханки.

Хлеб продавала породистой красоты женщина. Такие никогда не работают в булочных, но, видимо, мир в то лето решил окружить и заморозить меня всею своей красотой. Пока я выбирал хлеб и сопутствующие мучные товары, она, улыбаясь, разглядывала меня. Она очень хорошо на меня смотрела, и я останавливался, и прекращал шлаться от витрины к витрине, изучая качество мелочи на своей ладони, и тоже очень хорошо смотрел на неё.

– Почему у вас не продают пива? – интересовался я. – Вы не можете повлиять на это? Я вам организую небольшую, но постоянную прибыль.

На улице дети расплюснутым от долгого вдавливания в тёплый асфальт сучком делали последнюю завитушку над “ижицей”, чтобы множественное число увековеченного в детской письменности объекта превратилось в единственное.

Солнце светило мне в затылок, и моя тень обгоняла меня, и забегала вперёд, а потом окончательно терялась в подъезде дома, приютившего нас с Дашей, и порой поджидала меня до следующего утра. Грохнувшая входная дверь подъезда оповещала мою девочку о моём возвращении.

Шум включённого душа – первое, что я слышал, заходя в квартиру.

“Егорушка, это ты?” – второе.

Ну конечно же, это я. Чтоб удостовериться в том, что это действительно я, я подходил к зеркалу и видел свои по-собачьи счастливые глаза.

Нас подняли в пять утра.

Плохиш снова заорал первым, кто-то еле слышно сказал за всех: “Ой, сука...”. Пацаны устали за прошедший вечер, наглухо заделывая, заваливая, забивая окна первого этажа.

Когда курили после завтрака, из управления, неожиданный, на козелке появился штабный чин. Следом катил бэтээр, но он даже не въехал во двор – развернулся и умчал, подсакивая на ухабах.

Присмотрелся к чину – узнал: тот самый, что нам школу показывал в первый день, и тот же, что подорвавшегося пацана забирал.

На разводе нам объявили, что мы идём делать зачистку Заводском районе.

Чин – черноволосый, с усиками, строгий без хамства и позы, невысокий, ладный. Звёзды свои он снял, на плечевых лямках остались дырки в форме треугольника, поэтому и звание непонятно. Для “старлея” чин стар, для “полкана” – молод. Мы, собственно, и не интересовались. Чин сказал, что по офицерам снайперы стреляют в первую очередь, потому, мол, и снимал звёзды.

– А по прапорщикам? – спросил Плохиш. Он прапорщик. Все поняли, что Плохиш дурочку валяет. Семёныч посмотрел на Плохиша, и тот отстал.

Чин посоветовал Семёнычу тоже звёзды снять. Семёныч сказал, что под броником всё равно не видно. Мы-то знаем: он отговорился. Его майорские, пятиконечные, ему будто в плечи вросли. Хотя, если Семёнычу дадут подпола, это быстро пройдёт.

Чин пояснил нам задачу.

Хасан вызвался идти первым. Чин узнал, в чём дело, немного поговорил с Хасаном и дал добро, хотя его никто не спрашивал.

Сам чин остался на базе. Вместе с ним пацаны с постов, дневальный – Монах, начштаба и помощник повара, азербайджанец Анвар Амалиев. Плохиш увязался с нами, упрямый Семёныча.

Хасан с двумя бойцами из своего отделения двинулся впереди. Метрах в тридцати за ними – мы, по двое; сорок человек.

Бежим, топаем. Стараемся держаться домов. От земли несёт сыростью, но какой-то непривычной, южной, мутной.

Броники тяжёлые, сферу через пятнадцать минут захотелось снять и выкинуть в кусты. Хасан поднял руку, мы остановились.

– Сейчас он нас прямо к своим выведёт! – съязвил Гриша.

Я прислонился сферой к стене деревянного дома с выгоревшими окнами – чтоб шея отдохнула. Из дома со сквозняком неприятно пахло. Я заглянул в помещение: битый кирпич, тряпье. На чёрный выжженный потолок налип белый пух. Ближе к окну лежит пожелтевший от сырости раскрытый Коран с оборванными страницами.

– Давай Амалиеву Коран возьмем? – предложил кто-то.

– Да у него страницы на подтирки вырваны!

– Во чичи, Писанием подтираются!

– Да не, это наши, чичи вообще моются. С кувшином ходят. Я в армии видел.

– Поди, дембеля чеченского подмывал? – опять язвит Гриша.

Саня Скворцов перегнулся через подоконник и разглядывает палёные внутренности дома.

– Бля, пацаны, там валяется кто-то! Мужик какой-то! – Скворец показывает рукой в угол помещения.

Перегнувшись через подоконник следующего окна, Язва осветил ближайший угол фонариком.

– Кто там, Гриш?

– Мужик.

– Живой?

– Живой. Был.

Подошёл Куцый:

– В дом не лезьте!

Обгоревший труп совершенно голый. Открытый рот, губ нет, закинута голова, разломанный надвое кадык. Горелый, чёрный, задранный вверх, будто возбуждённый член.

– Мужики, никто не хочет искусственное дыхание ему сделать, рот в рот, может, не поздно ещё? – опять проявляется Язва.

...Кончились сельские развалины, начались хрущёвки. За ними – высотки, полувысотки, недовысотки, вообще уже не высотки. Наверное, в аду пейзаж куда оживлённей и веселее.

Серьёзные, грузные, внимательные гуляки, мы пересекаем пустыри и безлюдные кварталы.

Страшно и очень хочется жить. Так нравится жить, так прекрасно жить. Даша...

На подходе к заводскому блокпосту мы связались с ним по рации, предупредили, чтоб своих не постреляли.

На блокпосту человек десять. Бэтээр стоит рядом, и, судя по следам, – на нём давно никуда ездили. Пацаны-срочники высыпают из поста, сразу просят закурить. Через минуту у срочников за каждым ухом по сигарете. В скором, негромком разговоре выясняется, что все они откуда-то из тьмутаракани, наших земляков нет. Один – тувинец, с эсвэдэшкой. Глаз совсем не видно, когда улыбается. А улыбается он всё время.

Старший поста объясняет:

– Вон из того корпуса ночью постреливают... – он показывает в сторону Черноречья, на заводское здание. – Здесь объездных дорог в город полно, мы на главной стоим... Наша комендатура в низинке, пять минут отсюда. Мы базу уже предупредили, что вы будете работать. А то мы по всем шмалеем. Здесь мирным жителям делать не хера.

Держим путь к заводским корпусам.

Много железа, тёмные окна, неприкуранные трубы, ржавые лестницы... Корпуса видятся чуждыми и нежилыми.

Метров за двести переходим на трусцу. Бежим, пригибаясь, кустами.

Ежесекундно поглядываю на заводские здания: “Сейчас цокнет, и прямо мне в голову. Даже если сферу не пробьёт, просто шея сломается, и всё... А почему, собственно, тебе?.. Или в грудь? Эсвэдэшка броник пробивает, пробивает тело, пуля выходит где-нибудь под лопаткой и, не в силах пробить вторую половинку броника, рикошетит обратно, делает злобный зигзаг во внутренностях и застревает, например, в селезёнке. Всё, амбец. И чего мы бежим? Можно было доползти ведь. Куда торопимся? Цокнет, и прямо в голову. Или не меня?.. Иди вон, надоед ты ныть”.

Кусты закончились. До первого двухэтажного корпуса метров пятьдесят. Он стоит тыльной стороной к нам.

Куцый разглядывает здания в бинокль. Каждое отделение держит на прицеле определённый Семёнычем участок видимых нам корпусов.

– Ну давайте, ребятки! – приказывает Семёныч.

Гриша, Хасан и его отделение бегут первыми. Остальные сидят. С крыши ближайшего корпуса беззвучно взлетает несколько ворон. Левая рука не держит автомат ровно, дрожит. Можно лечь, но земля грязная, сырая. Никто не ложится, все сидят на корточках.

– Ташевский, давай своих!

Бегу первый, за спиной десять пацанов, бойцы, братки, Шея – замыкающий. Очень неудобно в бронике бежать. Ох, как же неудобно в нём бежать! Кажется, не было бы на мне

броника, я бы взлетел. Медленно бежишь, как от чудовища во сне. Только потеешь. Какое, наверное, наслаждение целиться в неуклюжих, медленных, нелепых, тёплых людей.

“Господи, только бы не сейчас! Ну давай чуть-чуть попозже, милый Господи! Милый мой, хороший, давай не сейчас!”

Взвод Кости Столяра держит под прицелом окна и крышу. Гриша, Хасан пошли со своими налево, вдоль тыльной стороны корпуса.

Мы пойдём вдоль правой стороны здания. Останавливаюсь возле первого окна, оглядываюсь. Пацаны все мокрые, розовые.

– Скворец, давай дальше! – говорю Сане Скворцову. Он обходит меня, ссутулившись, делает прыжок и через секунду оборачивается ко мне, стоя с другого края оконного проёма. Лицо, как у всех у нас, алое, а губы бескровные. Из-под пряди его рыжих волнистых волос стекает капля пота.

Смотрю сбоку на окно, оно огромное, решёток нет, рам нет, пустой проём. Заглядываю наискось в здание. Груды железа, бетон, балки. Глазами и кивком на окно спрашиваю у Саньки, что он видит со своей стороны. Санька косится в здание, потом недоумённо пожимает губами. Ничего особенного, мол, не вижу. Держим окно на прицеле. Подходит Куцый.

– Чего там, Егор? – спрашивает у меня.

– Да ничего, свалка.

Когда Куцый рядом – спокойно. Через два часа по прилёте в Грозный его весь отряд, не сговариваясь, стал называть Семёнычем. Конечно, пока никаких чинов рядом нет. У Семёныча круглое лицо с густыми усами. Широкий пористый нос. Хорошо поставленный командирский голос. Он часто орёт на нас, как пастух на скотину. Те, кто давно его знают, – не боятся. Нормальный армейский голос. А как, если не орать? Иногда мне кажется, что Куцый жадный. Что он слишком хочет получить подпола.

“А почему бы ему не хотеть?” – отвечаю сам себе.

– Сынок! – Куцый подзывает Шею. – Возьми со своими окна с этой стороны. Не суйтесь никуда, а то друг друга перебьём.

Вдоль нашей стены четыре окна. Пацаны встают так же, как я с Санькой, по двое возле каждого. Несколько человек, пригнувшись, отбегают от здания, чтоб видеть второй этаж. Ещё двое встают на углах. Куцый связывается по рации с парнями на другой стороне корпуса. Хасан отвечает. Говорит, что они тоже у края здания стоят. Куцый с десятком бойцов и парни с того края, все вместе, поворачивают за угол, с разных сторон идут ко входу.

Мы ждём...

Ненавижу свою сферу. Утоплю её в Тереке сегодня же. Далеко, интересно, этот Терек? Надо у Хасана спросить.

По диагонали от меня, внутри здания, – полуоткрытая раздолбанная дверь.

Даже не зрением и не слухом, а всем существом своим я ощутил движение за этой дверью. Надо было перчатку снять. Куда удобней, когда мякотью указательного чувствуешь спусковой крючок. И цевьё лежит в ладони удобно, как лодыжка моей девочки, когда я ей холодные пальчики массирую...

Дверь открылась.

Вот было бы забавно, если б командир отделения Ташевский имел характер неуравновешенный, истеричный. Как раз Плохишу в лоб попал бы.

Плохиш поднял кулак с поднятым вверх средним пальцем. Это он нас так поприветствовал.

В проёме открытой двери я вижу, как пацаны боком, в шахматном порядке поднимаются по лестнице внутри здания, задрав дула автоматов вверх. Первым идёт Хасан...

Появляется Семёныч, делает поднимающимся парням знаки, чтоб под ноги смотрели, – могут быть растяжки. Ступая будто по комнате с чутко спящим больным ребёнком, парни исчезают, повернув на лестничной площадке.

Смотрю на лестницу, всякий миг ожидая выстрелов или взрыва. Иногда в лестничный пролёт сыпется песок и мелкие камни. Задираю голову вверх – будет очень неприятно, если со второго этажа нам на головы кинут гранату.

Через пятнадцать минут на лестнице раздаётся мерный и весёлый топот.

– Спускаются! – с улыбкой констатирует Саня.

Первым появляется Плохиш, заходит в просматриваемое мной и Санькой помещение, ловко вспрыгивает на бетонную балку и начинает мочиться на пол, поводя бедрами и мечтательно глядя в потолок. Затем косится на нас и риторически спрашивает:

– Любуетесь, педофилы?

Через пять минут собираемся на перекур.

– На третьем этаже растяжка стоит, – рассказывает мне Хасан. – Две ступени не дошёл. Спасибо, Слава Тельман заметил. Тельман! С меня пузырь... На чердаке лежанка. Гильзы валяются – семь-шестьдесят две. Вид из бойницы отличный. Мы его растяжку на лестнице оставили и ещё две новых натянули.

...Через три часа мы зачистили все пять заводских корпусов и уселись на чердаке пятого обедать. Тушёнка, килька, хлеб, лук...

– Семёныч, может, по соточке? – предлагает Плохиш.

– А у тебя есть? – интересуется командир.

По особым модуляциям в голосе Семёныча Плохиш понимает, что тема поднята преждевременно и припасенный в эрдэшке пузырь имеет шанс быть разбитым о его же, Плохиша, круглую белёсую голову.

– Откуда! – отзывается Плохиш.

– Кто без особого разрешения соизволит, может сразу собирать вещи, – строго говорит Семёныч.

– Парни, может, нахлестаемся всем отрядом? – предлагает Язва. – Нас Семёныч домой ушлёт.

Такие шуточки Грише позволительны. На любого другого, кто вздумал бы пошутить по поводу слов Семёныча, посмотрели б как на дурака.

– Главное, Амалиеву ничего не говорить, а то у него запой сразу начнётся, – добавляет Плохиш.

Анвар Амалиев – помощник Плохиша, оставшийся на базе, – трусит, это видят все.

Жрём всухомятку, хрустим луком. Не наевшись толком, скоблим ложками консервные банки, и тут Санька Скворец, сидящий на корточках возле оконца, задумчиво говорит:

– Парни, а вон чеченцы...

Все наперебой полезли к окнам, только Плохиш тем временем воровато доел кильку из пары чужих банок.

По дороге быстрым шагом к нашему корпусу идут шесть человек. Озираются по сторонам... оружия вроде нет, одеты в чёрные короткие кожанки... сапоги, вязанные шапочки. Только один в кроссовках и в норковой шапке.

Тихо спускаемся вниз, сердце торопится вперёд меня. По приказу Семёныча Шея, я и моё отделение встаём у больших окон первого этажа с той стороны, откуда идут чеченцы.

Мы не смотрим в окно, чтоб нас не засекли, но, не дыша, вслушиваемся. Чечены идут молча, я слышу, как один из них, почему-то я думаю, что это именно тот, что в кроссовках, заскользил по грязи и тихо по-русски, но с акцентом, матерно выругался. Как-то тошно от его голоса. Наверное, от произнесения им вслух матерных обозначений половых органов я всем существом чувствую, что он – живой человек. Мягкий, белый, волосатый, потный, живой...

Комвзвода улыбается.

Стою, прижавшись спиной к стене возле окна. Боковым зрением вижу небольшой просвет – два метра от угла здания. На миг в просвете появляется каждый из идущих: один, второй, третий... Всё, шестой.

– Пошли! – командует Шея.

Грузно выпрыгиваем или даже вышагиваем из низко расположенного окна: Шея, я, Скворец...

Несколько метров до угла здания – поворачиваем вслед за чеченами – последний из них оглядывается на звук наших шагов.

– На землю! – заорал Шея и, подбежав, ударил сбоку прикладом автомата по лицу ближнего чеченца, того самого, что в норковой шапке. Чеченец взмахнул ногами и кувыркнулся в грязь, его шапка юркнула в кусты. Остальные повалились сами.

Подбегая, я наступаю на голову одному из чичей и едва не падаю, потому что голова его неожиданно глубоко, как в масло, влезла в грязь. Мне даже показалось, что я чувствую, как он пытается мышцами шеи выдержать мой вес. Хотя вряд ли я могу почувствовать это в берцах.

Через минуту подходят наши. Мы обыскиваем чеченцев. Оружия у них нет. Семечки в карманах. С лица чеченца, угодившего под автомат Шеи, обильно течёт кровь. Чеченец сжимает скулу в кулаке и безумными глазами смотрит на Шею.

– Чего на заводе надо? – спрашивает Семёныч у чеченцев. От его голоса становится зябко.

– Мы работаем здесь, – отвечает один из них.

Но одновременно с ним другой чеченец говорит:

– Мы в город идём.

Стало тихо.

“Что же они ничего не скажут?..” – думаю я.

Чеченцы переминаются.

Семёныча вызывают по рации пацаны, оставшиеся на чердаке для наблюдения. Он отходит в сторону, отвечает.

Оказывается, что по объездной дороге едет грузовик, в кабине два человека в гражданке, вроде чичи, кузов открытый, пустой.

Одно отделение остаётся с задержанными чеченцами. Мы бежим к перекрестку, навстречу грузовику. Мнётся и ломается под тяжёлыми ногами бесцветная сухая чеченская полынь-травя.

Шагов через сорок скатываемся, безжалостно измазывая задницы, ляжки и руки, в кусты, по разные стороны дороги. Пацаны спешно снимают автоматы с предохранителей, патроны давно досланы.

Слышно, что грузовик едет с большой скоростью. Через минуту мы его видим. За рулём действительно кавказцы.

Шея, лежащий рядом с Семёнычем, привстаёт на колени и даёт очередь вверх. Грузовик с рёвом поддаёт газку. В ту же секунду по грузовику начинается пальба. Стекло со стороны пассажира летит брызгами. Я тоже даю очередь, запускаю первую порцию свинца в хмурое чеченское небо, но стрелять уже незачем: машина круто останавливается. Из кустов вылетает Плохиш, открывает левую дверь и вытаскивает водителя за шиворот. Он живой, неразборчиво ругается, наверное, по-чеченски. Подходит Хасан, что-то негромко говорит водителю, и тот затихает, удивлённо глядя на Хасана.

Пассажира вытаскивают за ноги. Он ударяется головой о подножку. У него прострелена щека, а на груди будто разбита банка с вареньем: чёрная густая жидкость и налипшее на это месиво стекло с лобовухи. Он мёртв.

Пацаны лезут в машину, копошатся в бардачке, поднимают сиденья...

– Нет ни черта!

Хасан ловко запрыгивает в кузов. Топчется там, потом усаживается на кабину и закури-
вает. Он любит так присесть где-нибудь, чтоб красиво нарисоваться.

Что делать дальше – никто не знает. Семёныч и Шея стоят поодаль, командир что-то
приказывает Шее.

– Пошли! – говорит Шея бойцам. – Труп на обочину спихните.

– А что с этим? – спрашивает Саня Скворец, стоящий возле водителя. Тот лежит на
животе, накрыв голову руками.

Услышав Саню, чеченец поднял голову и, поискав глазами Хасана, крикнул ему:

– Эй, брат, вы что?

– Давай, Сань! – говорит Шея.

Я вижу, как у Скворца трясутся руки. Он поднимает автомат, нажимает на спусковой
крючок, но выстрела нет – автомат на предохранителе. Чеченец прытко встаёт на колени и хва-
тает Санькин автомат за ствол. Санька судорожно выдёргивает оружие, но чеченец держится
крепко. Всё это, впрочем, продолжается не более секунды. Димка Астахов бьёт чеченца ногой
в подбородок, тот отпускает ствол и заваливается на бок. Димка тут же стреляет ему в лицо
одиночным.

Пуля попадает в переносицу. На рожу Плохиша, стоящего возле, как будто махнули
сырой малярной кистью: всё лицо разом покрыли брызги развороченной глазницы.

– Тьфу, бя! – ругается Плохиш и оттирается рукавом. Брезгливо смотрит на рукав и
начинает тереть его другим рукавом.

Санька Скворец, отвернувшись, блюёт непереваренной килькой.

Быстро уходим.

Плохиш крутится возле машины. Я оборачиваюсь и вижу, как он обливает убитых чече-
нов бензином из канистры, найденной в грузовике.

Через минуту он, довольный, догоняет меня, в канистре болтаются остатки бензина.
Возле грузовика, потрескивая, горят два костра.

...Оставшееся возле корпусов отделение выстроило чеченцев у стены.

– Спросите у своих, кто хочет? – тихо говорит мне и Хасану Шея, кивая на пленных.

Вызываются человек пять. Чеченцы стоят, положив руки на стены. Кажется, что щелчки
предохранителей слышны за десятки метров, но нет, они ничего не слышат.

Шея махнул рукой. Я вздрогнул. Стрельба продолжается секунд сорок. Убиваемые шеве-
лятся, вздрагивают плечами, сгибают-разгибают ноги, будто впали в дурной сон и вот-вот
должны проснуться. Но постепенно движения становятся всё слабее и ленивей.

Подбежал Плохиш с канистрой, аккуратно облил расстрелянных.

– А вдруг они не... боевики? – спрашивает Скворец у меня за спиной.

Я молчу. Смотрю на дым. И тут в сапогах расстрелянных начинают взрываться патроны.
В сапоги-то мы к ним и не залезли.

Ну вот, и отвечать не надо.

V.

С почином вас, ребятаки!
Все ждут, что Семёныч скажет. Ну, Семёныч, ну, родной...
– Десять бутылок водки на стол.
– Ура, – констатирует Язва спокойно.
– Нас же пятьдесят человек, Семёныч! – это Шея.
– Я пить не буду, – вставляет Амалиев.
– Иди картошку чисть, пацифист, тебе никто не предлагает. Семёныч, может, пятнадцать?
– Десять.
Суетимся, как в первый раз. Лук, консервы, хлеб, картошка... Счастье какое, а?
Водка, чудо моё, девочка. Горькая моя сладкая. Прозрачная душа моя.
Шея бьёт ладонью по доньшкe бутылки, пробка вылетает, но разбрызгивается горькой разве что несколько капель. Сила удара просчитана, как отцовский подзатыльник.
Семёныч говорит простые слова. Стоим, сжав кружки, фляжки, стаканы, улыбаемся.
Спасибо, Семёныч, всё правильно сказал.
Первая. Как паркú в желудке поддали. “Протопи ты мне баньку, хозяйюшка...”
Лук хрустит, соль хрустит, поспешно и с трудом сглатывается хлеб, чтоб захохотать во весь розовый рот на очередную дурь из уст товарища.
Вторая... Ай, жарко.
– Братя по оружию и по отсутствию разума! – говорю. Какая разница, что говорю. – Семёныч, отец родной! Плохиш, поджигатель, твою мать! Гриша! Хасан! Родные мои...
И курить.
И обратно.
Водка, конечно, быстро закончилась.
Но раз Семёныч сказал, что десять, значит, так тому и быть. Не девять и не одиннадцать. Десять. Мы всё понимаем. Приказ всё-таки...
Ещё бы одну – и хорош.
Мы ведь не с пустыми руками из дома приехали. Засовываю пузырь спирта за пазуху и поднимаюсь на второй этаж. Наши пацаны уже ждут. У Хасана – кружка, у Саньки Скворца – луковица. Полный комплект.
Стукаемся кружками. Глот-глот-глот.
Опять стукаемся.
Ещё пьём.
...Не надо бы курить. А то мутит уже.
Саня Скворец медленно по стене съезжает вниз, присаживается на корточки.
Глаза тоскливые.
Хасан побрёл куда-то. Плохиш побежал за Хасаном и с диким криком прыгнул ему на шею – забавляется.
Съезжаю по стене, сажусь на корточки напротив Саньки.
Всё понимаю. Не надо об этом говорить. Мы сегодня лишили жизни восемь человек.
Пойдём-ка, Саня, спать.

Я часто брал Дэзи за голову и пытался пристально посмотреть ей в глаза. Она вырывалась.
Дэзи была умирительно красивой дворнягой. Если заглянуть в глубины памяти – а где, как не там, я смогу увидеть Дэзи, ведь фотографий её нет, – мне она кажется нежно-голубого

окраса, в чёрных пятнах, с легкомысленным хвостом, с вислыми ушами спаниеля. Но цвета детства обманчивы. Так что остановимся на том, что она была очаровательна.

Я не ел с ней из одной чашки, она не выказывала чудеса понимания и не спасала мне жизнь, не было ничего такого, что я с удовольствием бы описал, невзирая на то, что кто-то описывал это раньше.

Помню разве что один случай, удививший меня.

У дяди Павла в огороде стояла ёмкость с водой, куда он запускал карасей. Лениво плавая в ёмкости, караси дожидались того дня, когда дядя Павел возжелает рыбки. Но рыба стала еженощно исчезать, и дядя Павел, пересчитывавший карасей по утрам, догадался, кто тому виной. Вскоре в поставленный им капкан попал кот.

Так вот, из всех дворовых собак, столпившихся вокруг кота и злобно лающих на него, только Дэзи схватила кота за шиворот и воистину зверски потерзала его, закатившего глаза от ужаса, – другие собаки на это, к моему удивлению, не решились.

“Чего же они бегают за котами, если так боятся их укусить?” – подумал я тогда и зауважал Дэзи. В знак уважения я накормил её в тот же день колбасой, и когда отец, возвращавшийся с работы, застал меня за этим занятием, он только сказал: “На ужин нам оставь”, – и ушёл в дом.

Иногда я водил Дэзи купаться. Метрах в ста от нашего дома был чахлый прудик, но Дэзи не шла за мной туда, и поэтому мне приходилось её заманивать. Я брал дома пакет с печеньем и каждые три-четыре шага бросал печенье Дэзи, подводил свою собаку прямо к реке, а потом спихивал с мостика в воду. Дэзи с трудом выползала на берег и отряхивалась.

Первый раз она оценилась зимой, мне в ту пору было, думаю, лет пять. Отец мне о судьбе собачьего потомства ничего не сказал, но тётя Аня проболталась: “Дэзи-то ваша щеночков принесла, а они уже все мёртвые”.

Как выяснилось, наша собачка разродилась на заброшенной полуразваленной даче, неподалёку от дома.

Стояли холода, я сидел дома. Отец, подняв воротник и куря на ходу, возвращался, когда уже было темно, но я видел в окно его широкоплечую фигуру, его чёрную шубу, его шапку, над которой вился и тут же рассеивался дымок.

В этот тридцатиградусный мороз наша Дэзи породила несколько щенят, которые через полчаса замёрзли, – она была юной и бестолковой собакой и, кроме того, наверное, постеснялась рожать перед нами, вблизи нас – двоих мужчин.

Уже замёрзших, она перетаскала щенков на крыльцо нашего дома. Я узнал об этом от тётки Ани и сам их, заиндевелых, скукоженных, со слипшимися глазками, к счастью, не видел.

Узнав о гибели щенков, я ужаснулся, в том числе и тому, что у Дэзи больше не будет детишек, но отец успокоил меня. Сказал, что будет, и много.

Странно, но меня совершенно не беспокоил вопрос, откуда они возьмутся. То есть я знал, что их родит Дэзи, но по какой причине и вследствие чего она размножается, меня совершенно не волновало.

Ещё раз Дэзи родила, видимо, когда отец в предчувствии очередного запоя отвёз меня к деду Сергею. Куда делись щенки, не знаю. Отец бы их топить не стал точно. Может, дядя Павел утопил, он был большой живодёр.

Иногда Дэзи убегала. Она пропадала по несколько дней и всегда возвращалась.

Но однажды её не было полтора месяца. Пока она отсутствовала, я не плакал, но каждое утро выходил к её конуре. Тётя Аня сказала, что Дэзи видели на правобережной стороне города. “Кобели за ней увиваются”, – добавила тётя Аня, и меня это покорило.

Не знаю, как Дэзи перебиралась через мост: по нему со страшным шумом непрерывно шли трамваи, автобусы и авто, – я никогда не видел, чтобы по мосту бегали собаки. Может быть, она пробралась по мосту ночью?

Как бы то ни было, она вернулась. У неё была течка.

Мне пришлось оценить степень известности Дэзи в собачьей среде, вернее, среди беспризорных кобелей, проживающих на территории Святого Спаса. Наверное, наша длинношёрстная вислоухая сучечка произвела фурор, появившись в “большом городе” – так мы называли правобережье Святого Спаса, где, в отличие от наших тихих районов, были дома-высотки и даже цирк.

По утрам я писал с крыльца – “удобства” у нас были во дворе, идти к ним мне было зябко и лень. Однажды, едва рассвело, торопясь сделать своё дело, я мелкой, путанной рысцой выбежал на улицу и обнаружил там свору разномастных, как партизаны, собак. Они нерешительно толпились за калиткой. Иные даже вставляли на задние лапы, положив передние на поперечную рейку, скрепляющую колья забора. Они могли бы пролезть в щели, забор был весьма условным, но своим животным чутьём кобели, видимо, понимали, что это чужая территория и делать во дворе им нечего.

Дэзи задумчиво смотрела на гостей.

Босиком, ёжась от холода, в трусиках и в маечке, я спустился с крыльца, испуганно косясь на собак и одновременно выискивая на земле камушек побольше. Площадка у крыльца была уложена щебнем, и я решил использовать его.

До забора корявые кругляши щебёнки едва долетали, но на кобелей это подействовало. Отшатнувшись от забора, они незлобно полаяли и убежали за угол дома. Дэзи, как мне показалось, равнодушно проводила их взглядом.

– Ах ты моя псинка! – сказал я и, немного поразмыслив, как был, босыми ножками, ступая на цыпочки, добежал до конуры. – Они тебя обижают? – спросил я и, не дожидаясь ответа, прижал Дэзи к себе. Вообще такие нежности мне были несвойственны, но тут я что-то расчувствовался.

– Егор, малыш! Ну ты что, мой родной? – позвал меня вышедший из дома отец.

Я вытер ноги о половик и вернулся в кровать. Отчего-то мне было беспокойно, и, быстро одевшись, я вновь побежал на улицу. Дэзи в конуре не было.

Загрузив в карманы курточки щебень, я пошёл спасать мою собаку.

Дойдя до угла дома, я решил, что вооружился плохо, вернулся к забору и вытащил подломанный колик.

За углом нашего дома проходила полупросёлочная серая дорога, поросшая кустами. Чуть дальше она срасталась с асфальтовой, видневшейся за деревьями. Дэзи стояла посередине дороги, её крыл крупный кобель. Кобель делал своё дело угрюмо и сосредоточенно. Дэзи, повернув голову, смотрела на меня; её безропотный взгляд и мой, ошеломлённый, встретились.

“Как она может позволить так с собой поступать?” – подумал я, открыв рот от возмущения.

– Ах ты гадина! – сказал я вслух, едва не заплакав.

Я размахнулся и кинул в спаривающихся собак камнем. Они дёрнулись, но не перестали совокупляться.

– Ах ты гадина! – ещё раз повторил я. – Блядь! – с остервенением выкрикнул я малознакомое мне слово и, перехватив колик, побежал к Дэзи и к её смурному, конвульсивно движущемуся товарищу.

Собаки с трудом отделились друг от друга. Кобель, не оборачиваясь, побежал по дороге, словно по делу, Дэзи осталась стоять, по-прежнему равнодушно глядя на меня. Не добежав до собаки несколько шагов, я остановился. Ударить её коликом мне было страшно, но обида за то, что она так себя ведёт, так вот может делать, раздирала моё детское сердце.

Бросил колик на землю, путаясь в карманах, достал из курточки щебень и, замахнувшись, бросил в свою собаку. Дэзи взвилась вверх, неестественно изогнулась и увернулась-таки. Встав на четыре лапы, она недоумённо посмотрела на меня, всё ещё не решаясь убежать.

– Ну что за гадина! – крикнул я уже для неё лично, будто взывая к её совести, и запустил в Дэзи ещё один камень.

Она отбежала, посекундно оглядываясь на меня. Это меня ещё больше разозлило. Мне хотелось её немедленного раскаянья, мне хотелось, чтобы Дэзи кинулась ко мне подлизываться, подметая грешным хвостом землю, а она – натворила и наутёк.

Я сунулся в карман, не обнаружил там больше щебёнки и побежал за собакой с пустыми руками, выискивая на земле, что бросить в неё. Я подбирал полусырые комья и, спотыкаясь, метил в Дэзи.

Она отбегала, сохраняя расстояние детского броска.

Я гнал её до стен старых складов, находившихся неподалёку от нашего дома. У стен росли когтистые кривые кусты. Она прошмыгнула в самую их гущу. Царапаясь и корябаясь, я стал пробираться за ней, видя, как терпеливо она ожидает меня. Подобравшись к Дэзи, я обнаружил в её глазах уже не безропотность или удивление, а отчаянье. Я попытался схватить её за холку, и тут Дэзи зарычала на меня. Я увидел вблизи мелкий ряд её зубов, острых и белых, и отдёргнул руку.

– Ах ты! – ещё раз сказал я, кажется, уже понимая, что лишился своей собаки.

В исступлении я стал ломать сук, Дэзи вильнула между кустов. Я побежал за ней, гнал её до пруда – зачем-то мне хотелось спихнуть собаку в воду, омыть её. Она послушно добежала прямо до берега, но когда я стал подбегать к ней, злобно, истерично залаяла на меня и, увернувшись от удара палкой, рванула вдоль берега так быстро, что я понял: всё, не догнать.

Вечером она вернулась. Я вышел к ней, Дэзи брезгливо посмотрела на меня. С тех пор она только так и смотрела на меня, брезгливо.

“Странно, – думаю я, засыпая, – вот мы, пятьдесят душ, спим в каком-то доме, на пустыре, посреди чужого города. Совсем одни”.

Открываю глаза, вижу дневальщего Скворца, задумчиво взирающего в пустоту, обвожу взглядом парней, укутанных в серые одеяла, автоматы висят у кроватей, берцы стоят на полу...

Вспоминаю то, что видел несколько часов назад с крыши: неприветливую землю, и сухие кусты, и помойку, и неясные дома вокруг.

“Кто сказал, что этот город нам подвластен? В разных углах города спим мы, никому не нужные здесь, по утрам выбегаем в улицы, убиваем всех, кого встретим, и снова, как зверьё, отлёживаемся...”

И снова смотрю на здоровых мужиков, спящих тепло и спокойно.

Ночью мне приснился Плохиш, который, как картошину, чистил голову мёртвого чеченца. Аккуратно снимал ножом кожу, под которой открывался белый череп.

Проснулся, вздрогнув. Открыл глаза. Мрачно выглядят бойницы на окнах. Саня читает растрёпанную книгу. Пацаны мерно дышат. Как в интернате... Только там потолок пересекали отсветы фар проезжающих по дороге машин, а здесь – тихая, сладкая на вкус от мужского пота и чуть скисшего запаха отсыревших берцев полутемь. И потрескивание рации...

Поднялся утром в нервном состоянии. Чувствую, что мне страшно.

По школе всю ночь постреливали, то с одной стороны, то с другой. Наши посты молчат, затаясь, вроде как мы мирные люди.

А я боюсь...

Холодные ладони, и маета, и много без вкуса выкуренных сигарет, и нелепые раздумья, которые неотвязно крутятся в голове.

Так хочется жить. Почему так хочется жить? Почему так же не хочется жить в обычные дни, в мирные? Потому что никто не ограничивает во времени? Живи – не хочу...

Вопросы простые, ответы простые, чувства простые до тошноты. Люди так давно ходят по земле, вряд ли они способны испытать что-то новое. Даже конец света ничего нового не даст...

Амалиев подрядился отрядным писарем, я смотрю ему через плечо, как он заполняет какую-то ведомость, аккуратно вписывая наши фамилии, и, сам от себя неприязненно содрогаясь, прикидываю: “Допустим, убьют каждого третьего, – и прыгаю глазами по списку бойцов: Амалиев, Астахов, Жариков... – Блин, Гришу убьют! – на секунду огорчаюсь и спешу дальше. – Раз, два, три... И Женю Кизякова убьют!..Раз, два три... Скворцов, Суханов... Ташевский. Я – третий”, – заключаю про себя таким тоном, каким мой врач сообщил бы мне, что у меня рак мозга. “Ладно, ерунда...” – отмахиваюсь сам от себя. “Чушь какая...” – ещё раз говорю себе, поёживаясь от внутрисердечного ознобика, и сдерживаю желание дать подзатыльник корпящему над листком Амалиеву. У него светло-коричневый затылок в складочку и густые чёрные волосы. Он заполняет каждую ведомость по сорок минут, чтобы изобразить свою необыкновенную занятость. В перерывах между писарством он крутится на кухне, ежеминутно выслушивая ругань Плохиша.

Мы вывесили календарь командировки. Честно отсчитали сорок пять дней и внизу нарисовали борт, затем автобус, полный улыбающихся рож в беретках, и, наконец, в правом нижнем углу – окраины Святого Спаса.

Прошедшие дни командировки обводим в кружочек и зачёркиваем красным фломастером. Фломастер висит на веревочке, привязанной к гвоздику, вбитому в угол календаря. Под календарём спит Шея. Каждое утро первым делом Семёныч говорит:

– Сынок, зарисуй!

В это время появляется Плохиш с чаном супа и с дрожью в голосе комментирует:

– Сорок пятый день буду зачеркивать я, последний оставшийся в живых.

Или ещё что-нибудь вроде:

– Семёныч! Я компот пока не буду готовить. Компот на поминки...

Сегодня Плохиш пришёл в натуральном раздражении. Хлопнул дверью и с порога орёт:

– Чего облизываетесь, кобели? Сгущёнку в меню увидели? Не будет вам сгущёнки! Амалиев её на броник обменял!

Поначалу никто не поверил.

Плохиш грохнул чан на пол, налил себе супа и стал хмуро поедать его.

– Ну родит же земля таких уродов! – воскликнул он и стукнул ложкой о стол.

– Чего случилось, поварёнок? – выразил Шея интерес коллектива.

Плохиш ещё раз повторил, что вчера вечером Амалиев обменял у солдатиков, заезжавших к нам, двадцать банок сгущёнки на броник.

– А куда он свой дел?

– Да куда, – пояснил Плохиш. – Ему Семёныч вчера сказал, что он тоже на зачистку пойдёт, и Амалиев решил, что два броника надёжнее, чем один. Идите посмотрите на это чудо, он там по двору ходит. Думает, его из пушки теперь не пробьёшь.

Мы вываливаем на улицу.

– О, Анвар... – ласково говорит Язва. – Доброе утро. Ты куда вырядился?

Парни посмеиваются. На низкорослом и нелепом Анваре сфера и два броника: один плотно затянутый на пухлых телесах нашего товарища, а поверх – другой, с обвисшими распущенными лямками. На броники натянут бушлат, который Анвар пытается застегнуть хотя бы на одну пуговицу. Тщетность попыток усугубляется тем, что его и так короткие руки совершенно потеряли способность сгибаться в локтях.

Увидев нас, Анвар, подобный большому жуку, разворачивается и удаляется на кухню.

– Ну куда же ты, мимолётное виденье? – зовёт его Язва.

– Идите есть! – досадливо приказывает появившийся вслед за нами Семёныч, а сам отправляется в убежище Анвара.

Мы завтракаем без сладкого, вернувшийся Семёныч радуется второй зачисткой. Пойдём зачищать несколько сельских домов и хрущёвок, торчащих неподалёку от школы.

Иду в туалет покурить, обдумать новость. Стою у рукомойника, стряхиваю пепел на жёлтую растрескавшуюся эмаль.

Мысли, конечно, самые бестолковые: вот-де нам на первой зачистке повезло, на второй точно не повезёт. А ещё если чичи палёные трупы нашли... Теперь наверняка только и дожидаются, когда мы выйдем...

– Аллах акбар! – орёт Плохиш, входя в туалет.

– Воистину акбар! – отвечает ему кто-то с толчка.

Плохиш, подскочив, перегибается через железную дверцу, прикрывающую нужник, громко шлёпает кого-то по бритой голове ладонью.

– Плохиш, сука, оборзел? – вопрошает ударенный Столяр, узнаю я по голосу.

Пацаны смеются.

“Ну дурак!” – думаю я весело.

Спасибо Плохишу, отвлёт.

Вышел из туалета, столкнулся с тем самым чином, что не помню в какой раз уже приезжает. Присматривает, что ли, за нами?

– Кто это? – спрашиваю у Шеи.

– Подполковник, – отвечает он кратко, торопясь мимо меня с рулоном бумаги. У пацанов никак не кончается их расстройство. Бойцы на всякий случай клянут Плохиша. Тот честно соглашается, что мочился в чан со щами, чтоб не скисли.

Чин поднимается на второй этаж с Семёнычем, что-то объясняет нашему командиру. Куцый сделал внимательное лицо, хотя я по его виду чувствую, что он сам себе башка. Чин, впрочем, вроде бы нормальный мужик. Зачем он только дырку провинтил для ещё одной звезды, непонятно. Может, “комок” с чужого плеча? Но с каких это пор подполковникам камуфляжа не достаётся? В общем, плевать.

Когда мы построились во дворе, из кухоньки выполз Амалиев и тоже встал в строй, на своё привычное последнее место. Он по-прежнему в двух брониках, только без бушлата. На броники натянута разгрузка. Две гранаты, что топорщатся в нагрудных карманах разгрузки, делают Анвара похожим на пухлую малогрудую свежевыбритую тётю. С его круглого плеча всё время скатывается “калаш”.

– Мы будем зачищать жилые квартиры, – говорит Семёныч. – Детали работы определим на месте. Предупреждаю сразу: в квартирах ничего не брать! Мародёрства быть не должно!.. Женщин не трогаем, по этому поводу, думаю, никого предупреждать не надо. Всех мужиков собираем, рассаживаем в “козелки” и ак-ку-рат-но, в полной сохранности довозим сюда. Вопросы есть?

– Амалиев интересуется, можно ли трогать мужиков? – спрашивает Плохиш, чистящий возле своей каморки картошку. Естественно, что Амалиев ничем не интересовался. Шутовство на тему однополый любви – один из самых любимых способов Плохиша доводить Анвара до истерики.

Выходит подпол, прохаживается возле строя, негромко спрашивает у Андрюхи Суханова:

– А почему без бронежилета? Без сферы?

Андрей Суханов по прозвищу Конь, метр девяносто ростом, прокачанный, белотелый, надел камуфляжную куртку на голый торс, через плечи запустил пулемётные ленты, на правое плечо повесил ПКМ. Сферу тоже не стал надевать, положил её в ноги. Она лежит на битом асфальте двора, как мяч.

– Есть вопрос, Семёныч! – говорит Шея, игнорируя подпола – то есть, не испросив у него разрешения обратиться к Куцему. – Может, не будем сферы надевать?

Парни одобрительно загудели.

– И броники тоже! – добавляет Язва.

Семёныч подходит к подполу, перекидывается с ним парой слов.

– По желанию, – громко говорит Семёныч.

Все снимают с себя сферы и броники. Семёныч тоже. Остаёмся в камуфляже и в разгрузках.

Только Анвар не снял ни один из своих бронеков.

До жилого сектора бежим лёгкой трусцой, Анвар постоянно отстаёт.

– Анвар, может, мы тебя засыплем ветками, а на обратном пути заберём? – язвит Гриша.

На подходе к жилому кварталу разделяемся на две группы. Семёныч с двумя отделениями уходит на правую сторону улицы. Мы остаёмся под руководством Шеи на левой.

В первом же сельского типа доме обнаруживаем вполне пристойную обстановку. Телевизоры, диваны, ковры...

Кто-то тянется к магнитофону.

– Ничего не трогать! – орёт Шея.

Все топчутся в нерешительности.

На кухне находим мешок арахиса. Пока Шея не видит, рассыпаем арахис по карманам.

– Мужики, может, отравленный? – сомневается кто-то.

– Давай Амалиева угостим? – предлагает Гриша.

– Да ладно, хватит хернёй страдать! – говорит Астахов, зачёрпывает горсть арахиса и засыпает в рот. Мы сосредоточенно смотрим, как он жуёт.

– О, а тут ещё подвал! – говорит кто-то.

Открываем, светим фонариками. Хасан лезет вниз. За ним Шея.

– Мужики, тут бутылка вина! – кричит Хасан. Мы не успеваем обрадоваться, как раздаётся короткий чавкающий звук. Нам, нагнувшимся вниз, овеивает лица терпкий запах алкоголя.

– Я же сказал: “Ничего не трогать!” – повторяет комвзвода и возвращает автомат с подмоченным прикладом на плечо.

– Мужики, никому не хочется плюнуть на Шею? – предлагает Язва, чья голова в числе прочих склонилась над лазом в подвал.

Шея вылезает первым и выходит на улицу. За ним появляется Хасан, спрашивает глазами: “Ушёл?” – и вытаскивает наверх мешок с сушёными фруктами.

Через пару минут вываливаем на улицы, у всех полны рты орехов и прочих вкусностей. Присаживаемся во дворике покурить. Появляется Семёныч с парой ребят.

– Как дела?

– Курим вот.

– Ничего не брали?

– Ты ж сказал, Семёныч!

Молчим. Семёныч смотрит на дома.

– Чего ешь-то? – спрашивает у Язвы.

– Да вот, орешки.

Семёныч подставляет широкую красивую ладонь. Язва щедро отсыпает. Все иронично смотрят на Куцего. Тот жуёт, потом на мгновение прекращает шевелить челюстями:

– Чего уставились?

– Ничего, – пожимает плечами тот, на ком остановил взгляд Куцый. Все начинают смотреть по сторонам.

Через десять минут оцепляем первые хрущёвки. Находим место наблюдателям и снайперу, чтобы смотрели за окнами, проверяем связь – и вперёд.

Первый подъезд, первая дверь. Стучим... Тишина. Шея бьёт ногой, дверь слетает, как картонная.

Ходим по квартире, будто только что её купили, – новые наглые хозяева. Везде пусто. На полу валяются какие-то лоскуты. В зале на жёлтых обоях написано “Русские – свиньи”. “Русские” с одним “с”.

В следующей квартире открывает дверь женщина. Напугана... или скорей изображает, что напугана. В квартире ещё одна женщина, по лицу угадываю, что младшая сестра открывшей. Обе говорят без умолку – они ни при чём, мужья уехали с детьми в Россию, а они сторожат квартиры... Через минуту все перестают их слушать. Разве что Саня Скворец смотрит на женщин с изумлением. Чувствую, что ему хочется успокоить их, сказать, что всё будет хорошо. Только он нас, остолопов, стесняется.

Шея деловито лазает по шкафам на кухне.

Амалиев, доселе стоявший у входа, бочком входит и начинает поднимать крышки кастрюль на плите. В кастрюлях суп и каша. Скворец, пошлявшийся по залу, хватается семейный альбом, лежащий за стеклом объемного серванта.

Одна из женщин почему-то начинает плакать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.